# Светлана Алексиевич

# Последние свидетели (сто недетских рассказов)

Утром двадцать второго июня сорок первого года на одной из брестских улиц лежала убитая девочка с незаплетенными косичками и ее кукла.

Многие запомнили эту девочку…

А кто сосчитает, сколько детей убивает война, которая убивает их дважды? Убивает тех, кто родился. И убивает тех, кто мог бы, кто должен был прийти в это мир. В «Реквиеме» белорусского поэта Анатолия Вертинского над полем, где остались убитые солдаты, звучит детский хор — кричат и плачут нерожденные дети. Они и по сей день кричат и плачут над каждой братской могилой.

Ребенок, прошедший через ужас войны, ребенок ли? Кто возвратит ему детство? Когда-то Достоевский поставил проблему общего счастья в зависимость от страдания одного-единственного ребенка.

А их таких были тысячи в сорок первом — сорок пятом годах…

Что помнят они? Что могут рассказать? Должны рассказать! Потому что и сейчас где-то тоже рвутся бомбы, свистят пули, рассыпаются от снарядов на крошки, на пыль дома и горят детские кроватки. Потому что сегодня кому-то хочется уже большой войны, вселенской Хиросимы, в атомном огне которой дети испарялись бы, как капли воды, засыхали бы, как страшные цветы.

Можно спросить, что героического в том, чтобы в пять, десять или двенадцать лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети?

Многое!

Что помнят о матери? Об отце? Только смерть их:

«…осталась на угольках одна пуговица от маминой кофты. А в печи две булки теплого хлеба…»

(Аня Точицкая — 5 лет).

Как отца разрывали немецкие овчарки, а он кричал:

«Сына уведите… Сына уведите, чтобы не смотрел…»

(Саша Хвалей — 7 лет).

Еще они могут рассказать, как умирали от голода и страха. Как убегали на фронт:

«…боялся, что война без меня кончится. А она была такая длинная: началась — я вступил в пионеры, кончилась — уже комсомолец».

(Костя Илькевич — 10 лет).

«Мам, прошу, пусти на войну».

«Не пущу».

«Тогда я сам пойду!»

…Направили меня в Тамбовское суворовское училище. А до войны я успел окончить только три класса и диктант в училище написал на единицу. Испугался и удрал на фронт…

(Сын полка Валя Дончик — 10 лет).

Как тосковали, когда наступило первое сентября сорок первого года и не надо было идти в школу. Как становились маленькими солдатами:

«…Что мне делать с тобой, парень? Ты же в два раза меньше винтовки», — говорит командир.

(Сын полка Петя Филоненко — 11 лет).

«Жалели только об одном: что я не успела вырасти и стать летчицей».

(Клара Гончарова — 14 лет).

Как, только встав на ящики, дотягивались до станков и в десять-двенадцать лет работали по двенадцать часов в сутки. Как получали на погибших отцов похоронки. Как, увидев после войны первый батон, не знали, можно ли его есть, потому что

«…я забыл за четыре года, что это такое — белый батон».

(Саша Новиков — 10 лет).

Как уходила на фронт воспитательница из детдома, а они хором просили: «Папу найдите…» Как усыновляли их чужие люди. Как даже сейчас у них еще трудно спросить о маме.

Детская память — вещь загадочная. Вот Лев Толстой утверждал, что помнит ощущение чистых и прохладных пеленок, в которые его заворачивали в детстве.

Первое воспоминание трехлетнего Володи Шаповалова, как вели на расстрел их семью и ему казалось, что мать кричала громче всех; «…может, потому мне так казалось, что она несла меня на руках, а в обхватил ее за шею. И руками слышал, как голос шел из гола».

Феликс Клаз, которому в сорок первом году было шесть лет, до сих пор не может забыть буханку хлеба, которую бросил им их теплушки раненый солдат: «Мы уже неделю ехали голодные. Мать отдала нам с братом последние два сухаря, а сама только смотрела на нас. И он это увидел…»

Сын полка Толя Морозов может рассказать, как его, голодного и замерзшего, подобрали в лесу танкисты; и девушка-санинструктор скоблила мальчишку сапожной щеткой и долго вспоминала, что ей «не хватило на меня толстого куска мыла. Я был чернее камня».

Их судьбы похожи: судьба смоленского и белорусского мальчика, судьба украинской и литовской девочки. Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Даже если они находились в тылу, все равно это были военные дети. Их рассказы тоже длиной в целую войну.

В сорок первом году, в июне, на Минском шоссе родились строки Константина Симонова:

Майор привез мальчишку на лафете,

Погибла мать. Сын не простился с ней…

В сорок втором из осажденного Ленинграда отзовется Анна Ахматова:

Сквозь бомбежку слышится

Детский голосок…

Сегодня они — последние свидетели тех трагических дней. За ними больше нет никого!

Но они старше своей детской памяти на сорок лет. И сейчас, когда я просила их вспоминать, им было нелегко. Им приходилось снова входить в то состояние, в те конкретные ощущения детского возраста. Казалось бы, невозможно. Но происходило поразительное. В поседевшей женщине вдруг проглядывала маленькая девочка, умоляющая солдата:

«Не прячьте мою мамку в ямку, она проснется, и мы с ней пойдем дальше».

(Катя Шепелевич — 4 года).

Благословенная наша беззащитность перед нашей памятью! Кто мы бы были без нее? Человек беспамятный способен породить только зло и ничего другого, кроме зла.

Если взрослая память рисует узор, дает объемную картину прошлого, пережитого, то детская выхватывает наиболее яркие и трагические моменты. Она часто опускает конкретное:

«Помню глубокие горшки немецких касок, а лиц под ними не помню. Страх мне всегда казался черного цвета».

(Эля Грузнина — 7 лет).

Но, опуская подробности описаний, она абсолютно достоверно передает чувство:

«Все ощущения войны остались у меня в памяти, как таблица умножения, как лагерный номер на руке. Только с живой шкурой содрать можно».

(Иван Каврус — 10 лет).

Или:

«Я тоже задумывался: почему те, кто был взрослым, помнят не так, как я? Вот мы теперь собираемся на наших партизанских встречах, и я им что-нибудь рассказываю. „Да, — слушают они, было такое, но мы забыли“. А я помню, потому что был мальчишкой и, попав в войну, попав в партизаны, испытал потрясение души. С первой бомбой, когда я увидел, как она падает, я был уже не я, это был уже другой человек. Во всяком случае, ребенка во мне уже не стало. Или, может быть, во мне жил ребенок, но уже рядом с каким-то другим…»

(Вася Асташенок — 10 лет).

Как это точно замечено: «Во мне жил ребенок, но уже рядом с кем-то другим». Вблизи смерти и смертоубийства они взрослели и мудрели не по-детски и даже не по-человечески. Раненые детские души порой пугали больше самой смерти. Вот тому прием:

«Жила я у немецкого бауэра. Он посмотрит на меня, а я в драном тонком платьишке, и говорит, мол, когда у тебя груди выскочат. Мне надо, чтобы скорее, тогда мои мужчины-работники лучше работать будут. А я ничего не понимала, пока хозяйка мне не объяснила, что хочет ее муж, и я ночью пыталась повеситься…»

(Люба Ильина — 11 лет).

Еще один рассказ:

«Сам все помню, а мама после войны не верила: „Ты не мог помнить, тебе кто-то рассказал“. Нет, я сам помню, как рвутся бомбы, а я цепляюсь за старшего брата. „Жить хочу! Жить хочу!“ Боялся умереть, хотя, что я мог тогда знать о смерти?»

(Вася Харевский — 4 года).

Наверное, тогда, сорок лет назад, они рассказали бы не так. Рассказали бы то же самое, но не так как. Потому что тогда бы рассказывали дети, а сейчас вспоминают те, кто был ребенком или подростком. Между сегодняшним моим рассказчиком и тем мальчиком или девочкой, о которых они говорят, пролегла целая человеческая жизнь. Тех, прежних, напоминают только чудом сохранившиеся фотографии. А у кого нет фотографии, жалеют:

«В нашем партизанском отряде не было фотографа, и нельзя себе представить, каким я был тогда. А я хотел бы знать: каким?»

(Володя Лаевский — 13 лет).

— О какой себе рассказывать? — спросили меня однажды. — О той, которой было в сорок первом семь лет, или о себе, сегодняшней, которой в сорок первом было семь лет?

О той, которой в сорок первом было семь лет. Она — свидетель…

Время изменило их самих, оно усовершенствовало, вернее сказать, усложнило их отношение к своему прошлому. Изменилась как бы форма передачи их памяти, но не то, что с ними было. В этом смысле рассказанное ими подлинный документ, хотя говорят уже взрослые люди. Существовала и другая опасность. Обычно, рассказывая о своем детстве, мы его украшаем, идеализируем. Они и от этого застрахованы. Нельзя же украшать ужас и страх…

На вопрос: кто же герой этой книги? — автор ответила бы: детство, которое сжигали, расстреливали, убивали и бомбой, и пулей, и голодом, и страхом, и безотцовщиной. Для справки: в детских домах Беларуси только в тысяча девятьсот сорок пятом году воспитывалось двадцать шесть тысяч девятьсот сирот.[[1]](#footnote-1) И еще одна цифра — во время второй мировой войны погибло тринадцать миллионов детей.

Кто теперь скажет, сколько среди них было русских детей, сколько белорусских, сколько польских или французских? Погибали дети — граждане мира.

Детей моей Беларуси спасала вся страна и растила вся страна. В большом детском хоре я слышу их голоса…

Белорусская девочка Тамара Томашевич до сегодняшнего дня сберегла в памяти, как в Хвалынском детдоме на Волге никто из взрослых не повышал на детей голоса, пока у них не отросли волосы после дороги, а Женя Корпачев, эвакуированный из Минска в Ташкент, не забыл старую узбечку, принесшую им с матерью последнее свое одеяло на вокзал. Первый советский солдат в освобожденном Минске подхватил на руки четырехлетнюю Галю Забавчик, и она назвала его «папа». А Нелла Вершок рассказывает, как шли по их деревне наши солдаты, а дети смотрели на них и кричали: «Папы идут! Папы…» Не солдаты, а папы.

«Я родом из детства», — говорил о себе Сент-Экзюпери.

А ни родом из войны…

## «Он оглянуться боялся…»

***Женя Билькевич — 5 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Бресте.***

…Мама с папой думали, что мы спим, а я лежала рядом с сестричкой и притворялась, что сплю. Видела: папа долго целовал маму: целовал лицо, руки, а я удивлялась, что никогда раньше он так ее не целовал. Они вышли во двор, я подскочила к окну: мама повисла у папы на шее, и не отпускала его. Он оторвал ее от себя и побежал, она догнала и снова не пускает и что-то кричит. Тогда я тоже закричала: «Папа!»

Проснулись сестричка и братик Вася, сестричка смотрит, что я плачу, и она закричала: «Папа». Выскочили мы все на крыльцо: «Папа!» Отец увидел нас и, как сейчас помню, закрыл голову руками и пошел, даже побежал. Он оглянуться боялся…

Солнце светило мне в лицо так тепло, что и теперь не верится, что мой отец в то утром уходил на войну. Я была совсем маленькая, но мне кажется, я чувствовала, что вижу его в последний раз.

Так и осталось у меня в памяти, что война — то когда нет папы.

А потом помню, как лежала возле шоссе наша мама с раскинутыми руками. Мы просили ее встать, она не вставала. Солдаты завернули маму в плащ-палатку и похоронили на этом же месте. Мы кричали и просили, чтобы нашу маму не закапывали…

## «Они лежали на углях розовые…»

***Катя Коротаева — 14 лет.***

***Сейчас — инженер-гидротехник.***

***Живет в Минске.***

До войны я окончила шесть классов. Тогда был такой порядок в школе, что начиная с четвертого класса мы сдавали экзамены. И вот мы сдали последний экзамен. Это был июнь, а май и июнь в сорок первом был холодные. Если у нас сирень цветет где-то в мае, то в тот год она цвела в середине июня. И вот начало войны у меня всегда ассоциируется с запахом сирени.

Жили мы в Минске, и родилась я в Минске. Отец был военный капельмейстер. Кроме меня, в семье было два старших брата. Меня, конечно, все любили и баловали, как самую младшую, да еще сестричку.

Впереди лето, впереди каникулы. Это было очень радостно. Я занималась спортом, ходила в Дом Красной Армии плавать в бассейн. И мне очень завидовали, даже мальчишки в классе завидовали. А я задавалась, что умею хорошо плавать. Двадцать второго июня, в воскресенье, должно было быть открытие Комсомольского озера. Я собиралась пойти искупаться одной из первых. А как же!

Утром у нас было принято всегда идти за свежими булочками. Это считалось моей обязанностью. По дороге встретила подругу, она мне сказала, что началась война. На нашей улице был много садов, домики утопали все в цветах. Я подумала: «Какая война? Что она говорит?..»

Дома отец ставил самовар… Не успела я ничего рассказать, как стали прибегать соседи, и у всех на губах одно слово: «Война! Война!» А назавтра в семь утра самому старшему брату принесли повестку в военкомат. Днем он сбегал на работу и получил деньги, получил расчет. С этими деньгам и он пришел домой и сказал маме: «Я уходу на фронт, мне ничего не нужно. Возьми эти деньги, купите Кате новое пальто». А я, как только перешла в седьмой класс, стала старшеклассницей, мечтала, что мне сделают синее бостоновое пальто с серым каракулевым воротником. И он об этом знал.

Я до сих пор помню, что, уходя на фронт, брат дал деньги мне на пальто. А жили мы скромно, дырок в семейном бюджете хватало. Но мама купила бы мне это пальто, раз брат просил. Ничего она не успела…

Минск стали бомбить. Мы обосновались с мамой в каменном погребе у соседей. У меня была любимая кошка, она была очень дикая, дальше двора никуда не ходила, но, когда начинали бомбить и я уходила со двора, кошка бежала за мной. Я ее гоню: «Иди домой!», а она за мной. Она тоже боялась оставаться одна. Немецкие бомбы летали с каким-то звоном, с воем. Я была девочка музыкальная, на меня то сильно действовало. Это так страшно, что у меня были мокрые ладошки. В погребе с нами был четырехлетний ребенок, он не плакал. У него только глаза становились большими…

Сначала горели отдельные дома, потом загорелся город. Мы любим смотреть на огонь, но нам страшно, когда горит дом, а здесь огонь шел с двух сторон, небо и улицы застилал дым. Был животный страх перед этим огнем. Мы бежали… Помню три открытых кона в каком-то деревянном доме, на подоконниках роскошные филокактусы… Людей в этом доме уже нет, только кактусы цветут… Было такое чувство, что это не красные цветы, а красный огонь. И я стояла и не могла понять, почему не загораются белые занавески на окнах…

По дороге в деревнях нас кормили хлебом и молоком, больше ничего у людей не было. А у нас не было денег. Я ушла из дома в платочке, а мама почему-то выбежала в зимнем пальто и в туфлях на высоких каблуках. Нас кормили так, никто о деньгах и не заикался. Беженцы шли толпами…

Потом кто-то первый передал, что дорога впереди перерезана немецкими мотоциклистами. Мимо тех же деревень, мимо тех же теток с крынками молока мы бежали назад. Прибежали на нашу улицу… Еще несколько дней назад тут была зелень, тут были цветы, а сейчас все выжжено. Даже от столетних лип ничего не осталось. Все было выжжено до желтого песка… Куда-то, как показалось, исчез чернозем, на котором все росло, только желтый-желтый песок… Как будто мы стоим возле свежевыкопанной могилы…

Остались заводские печи, они тоже были белые, а не закопченные. Это они прокалились в сильном пламени. Сгорела вся улица. Сгорели бабушки и много маленьких детей, потому что они не убежали вместе со всеми. Старики остались с малышами, думали, что их не тронут. Огонь никого не пощадил. Идешь — лежит черный труп, значит, старый человек сгорел… А увидишь издали что-то маленькое, розовое, значит, маленькая девочка. Они лежали на углях розовые…

Несколько недель я ходила и что-то шептала… Я была как в обмороке. И когда я увидела первых фашистов… Вернее, даже не увидела, а услышала — у них у всех были подкованные сапоги, они громко стучали. Я смотрела на них, и мне казалось, что даже земле больно, когда они идут…

Война началась, мы были еще дети — тринадцать-четырнадцать лет. Кончилась война, мы уже взрослые — семнадцать-восемнадцать лет. Надо идти работать, руками, по кирпичику собирать разбитый город. На свидания бегать нам не к кому. Наши женихи погибли… Они по возрасту как раз под войну успели — кто на начало, кто на конец. Ни детства, ни юности у нас не было. Мне кажется, я всегда была взрослая, всегда делала только взрослую работу…

## «А я все равно хочу маму…»

***Зина Косяк — 8 лет.***

***Сейчас — парикмахерша.***

***Живет в Минске.***

В сорок первом я окончила первый класс, и родители послали меня на лето в пионерский лагерь Городище под Минском. Я приехала, а через два дня война. Нас начали вывозить из лагеря. Посадили в поезд и повезли. Мы, дети, ничего не понимали. Летали немецкие самолеты, а мы кричали: «Ура!» Пока нас не стали бомбить. Потом мы видели, как горел Минск. К нам уже пришел страх.

Нам, когда мы уезжали из лагеря, каждому в наволочку что-нибудь насыпали — кому крупы, кому сахар. Даже самых маленьких не обошли, всем давали что-то с собой. Хотели взять как можно больше продуктов. И эти подкупы очень берегли. Но в поезде мы увидели раненых солдат. Они были измученные, им было так больно, что мы все отдавали этим солдатам. Это называлось: «Кормить пап». Всех военных мужчин мы называли папами.

Везли нас больше месяца. Направят в такой-то город, приедем, а оставить нас не могут, потому что уже близко немцы. И доехали так до Мордовии.

Место было очень красивое, там кругом стояли церкви. А спать было не на чем, спали на соломе. Когда нас застала зима, на четверых были одни ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом, голодали и люди вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило двести пятьдесят детей, и однажды было так, что пришли мы на обед, а есть вообще нечего. Сидят в столовой воспитательницы и директор, смотрят на нас, и глаза у них полные слез. А была у нас лошадь Майка, она была очень ласковая, мы возили на ней воду. На следующий день убили эту Майку и давали нам воду и такой маленький кусочек Майки. Мы только потом узнали, что убили Майку, от нас это скрывали, мы все ее очень любили. Это было единственное животное в нашем детдоме.

Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, столько я буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные животные. Весной в радиусе нескольких километров вокруг детдома не распускалось ни одно дерево, мы съедали все почки. Ели траву, всю подряд ели. Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой становилось очень тяжело. Маленьких детей, нас было человек сорок, поселили отдельно, и по ночам рев слышался очень долго. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не произносить при нас слово «мама». Они рассказывали нам сказки и подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг произносил «мама», сразу начинался рев.

Учиться я опять пошла в первый класс. А получилось так: первый класс я окончила с похвальной грамотой, а когда мы приехали в детдом и у нас спросили, у кого переэкзаменовка, я сказала, что у меня. так как решила, что переэкзаменовка — это и есть похвальная грамота. В третьем классе я удрала из детдома. Пошла искать маму. Голодную и обессиленную в лесу меня нашел дедушка Большаков. Узнал, что я из детдома, и забрал к себе в семью. Жили они вдвоем со старушкой. Я окрепла и стала помогать им по хозяйству: траву собирала, картошку полола, — все делала. Ели мы хлеб, но это был такой хлеб, что в нем было мало хлеба. В муку намешивали все, что мололось: лебеду, картофельную ботву, цвет ореха, картошку. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на жирную траву и ем много хлеба. Я никак не могу наесться хлеба.

Всю войну я говорила и ждала, что, когда кончится война, мы запряжем с дедушкой лошадь и поедем искать маму. В дом заходили эвакуированные, я у всех спрашивала: «Не встречали ли они мою маму?» Эвакуированных было много, так много, что в каждом доме стоял чугун теплой крапивы. Если люди зайдут, чтобы было им что-нибудь теплое похлебать. Больше нечего было дать, но чугун крапивы стоял в каждом доме. Я это хорошо помню.

Война кончилась, я жду день, два, за мной никто не едет. Мама за мной не едет, а папа, я знала, в армии. Я еще не знала, что они погибли. Прождала я так две недели, больше ждать не было сил. Забралась в какой-то поезд под скамейку и поехала… Куда?.. Не знала. Я думала, это же детское сознание еще было, что все поезда едут в Минск. А в Минске меня ждет — мама!

И вот мне уже пятьдесят один год, у меня есть свои дети. А я все равно хочу маму…

## «Такие красивые игрушки…»

***Таиса Насветникова — 7 лет.***

***Сейчас — преподаватель физики.***

***Живет в Минске***

С той военной поры, как я себя помню, мне кажется, что все было хорошо: детский сад, утренники, двор, девочки, мальчики. Я много читала, боялась червяков и любила собак. Жили мы в Витебске, папа работал в строительном управлении. С детства больше всего запомнила, как папа учил меня плавать в Двине.

А потом была школа. От школы у меня осталось такое впечатление: очень широкая лестница, стеклянная прозрачная стенка и очень много солнца, и очень много радости. Было такое ощущение, что жизнь — это праздник.

В первые же дни войны папа ушел на фронт. Я помню прощание на вокзале… Папа все время убеждал маму, что они отгонят немцев, но чтобы мы эвакуировались.

А я все повторяла: «Папочка, миленький! Только возвращайся скорее… Папочка миленький! Только возвращайся скорее». Уехал папа, через несколько дней уехали и мы. По дороге нас все время бомбили, бомбить нас было легко, так как эшелоны в тыл шли через каждые пятьсот метров. Ехали мы налегке: у мамы было сатиновое платьице в белый горошек, а у меня ситцевый красный сарафанчик с цветочками. Все взрослые говорили, что уж очень красное видно сверху, и как только налет, все бросалось по кустам, а меня, чем только можно было, накрывали, чтобы мой этот красный сарафанчик не был виден.

Воду пили из болот и канав. Начались кишечные заболевания. Я тоже заболела, трое суток не приходила в сознание. Потом мама рассказала, как меня спасли. Когда мы подъезжали к Брянску, на соседнем пути остановился воинский эшелон. Моей маме было двадцать шесть лет, она была очень красивая. Она вышла из вагона, и ей сказал какой-то комплимент офицер из того эшелона. Она попросила: «Отойдите, я не могу видеть вашу улыбку. У меня дочь умирает». Офицер оказался военным фельдшером. Он вскочил в вагон, осмотрел меня и позвал своего товарища: «Быстренько принеси чай, сухари и белладонну». Вот эти солдатские сухари, литровая бутылка крепкого чая и несколько таблеток белладонны спасли мне жизнь.

Пока мы ехали в Актюбинск, весь эшелон был больной. Нас, детей, не пускали туда, где были мертвые и убитые, нас ограждали от этого. Мы слышали только разговоры: там столько-то закопали в яму, там столько-то… Мама приходила с бледным-бледным лицом, руки у нее дрожали. А я все расспрашивала: «А куда делись эти люди?»

Столько километров проехали, а никаких пейзажей не помню. И это очень удивительно, потому что я любила природу. А запоминались только те кусты, под которыми мы прятались. Почему-то мне казалось, что нигде нет леса, что мы едем только среди полей, среди какой-то пустыни. Однажды испытала такой страх. больший, чем бомбежка. Нас не предупредили, что поезд не будет долго стоять. Поезд пошел, а я осталась. Не помню, кто меня подхватил, меня буквально вбросили в вагон, но не в наш вагон, а в какой-то предпоследний. Тогда я впервые испугалась, что останусь одна, а мама уедет. Пока мама была рядом, ничего не было страшно. А тут я онемела от страха. И пока мама ко мне не прибежала, не схватила в охапку, я была немая, никто от меня слова не мог добиться. Мама — это было спасение. Если у меня даже что-то болело, возьмешься за мамину руку, и болеть перестает. Ночью я всегда спала рядышком с ней, чем теснее, тем безопаснее. Если мама близко, кажется, что все у нас, как раньше дома было.

Из Актюбинска мы поехали в Магнитогорск, там жил папин родной брат. До войны у него была большая семья, а когда мы приехали, о в доме жили только женщины. Мужчины все были на войне. В конце сорок первого получили две похоронки — погибли дядины сыновья…

Из той зимы еще запомнилась ветрянка, которой мы переболели всей школой. И красные штаны… По карточкам мама получила отрез бордовой байки, из нее сшила мне штаны. И дети меня дразнили «Монах в красных штанах». Мне было очень обидно. Чуть позже получили по карточкам галоши, я их подвязывала и так бегала. Около косточек они натирали ранки, так все время приходилось под пятки что-то подкладывать, чтобы пятка стала выше и не было этих ран. Но зима была такая холодная, что у меня все время подмерзали руки и ноги. В школе часто портилось отопление, в классах замерзала вода на полу, и мы катались на валенках между партами, сидели в пальто, в рукавичках, только обрезали пальчики, чтобы можно было держать ручку. Я не помню, чтобы мы играли, смеялись, бегали, я помню только, что мы много читали. Так много, что перечитали всю детскую библиотеку, юношескую, и нам стали давать взрослые книги.

Слушали все время радио, без радио не могли жить. Радовались каждому салюту, переживали каждое сообщение как там в тылу, в подполье, в партизанах? Вышли фильмы о битве под Сталинградом и под Москвой, так мы по пятнадцать-двадцать раз их смотрели. Подряд три раза будут показывать, и мы будем три раза смотреть. Фильмы показывали в школе, специального кинозала не было, показывали в коридоре, а мы сидели на полу. По два-три часа сидели.

В конце сорок четвертого года я увидела первых пленных немцев. Они шли широкой колонной по улице. И что меня поразило, так это то, что люди подходили к ним и давали хлеб. Меня это так поразило, что я побежала на работу к маме спросить: «Почему наши люди дают немцам хлеб?» Мама ничего не сказала, она только заплакала.

Девятого мая мы проснулись утром оттого, что в подъезде кто-то очень сильно кричал. Было еще совсем рано. Мама пошла узнать, что случилось, прибежала растерянная: «Победа!» Это было так непривычно: война кончилась, такая долгая война. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то кричал… Плакали те, кто потерял близких, смеялись оттого, что все-таки это была победа. У кого-то была горстка крупы, у кого-то — картошка, у кого-то — свекла, — все сносили в одну квартирую. Я никогда не забуду этот день. Вот это утро… Даже к вечеру уже было не так…

В войну все почему-то говорили тихо, мне даже казалось, что шепотом, а тут все вдруг заговорил громко. Мы все время были рядом со взрослыми, нас угощали, нас ласкали и прогоняли: «Идите на улицу. Сегодня праздник…» И звали обратно. Нас никогда столько не обнимали и не целовали, как в этот день.

Но я — счастливый человек, у меня вернулся с войны папа. Папа привез красивые детские игрушки. Игрушки были немецкие. Я не могла понять, как могут быть такие красивые игрушки немецкими…

## «До войны у меня было детство…»

***Михаил Майоров — 5 лет.***

***Сейчас — кандидат сельскохозяйственных наук.***

***Живет в Минске.***

Как я после понял, до войны я прожил целую жизнь. До войны у меня было детство.

…Окончив работы по хозяйству, бабушка отодвигает стол к окну, расстилает материал, накладывает на него вату, покрывает ее другим куском материала и начинает стегать одеяло. Помогаю ей я: с оной стороны одеяла бабушка вбивает гвоздики, к ним поочередно привязывает шпагат, который натирает мелком, а я натягиваю его с другой стороны. «Тяни, Мишенька, посильней», — говорит бабушка. Я натягиваю — она отпускает: бах — и готова меловая полоска на красном или синем сатине. Полоски пересекаются, получаются ромбики, по ним бегут стежки черных ниток. Следующая операция: бабушка раскладывает бумажные выкройки (сейчас это называется трафаретом), и на сметанном одеяле появляется рисунок. Очень красиво и интересно. Бабушка мастерица и рубашки строчить, особенно воротники ей удаются. Ее ручная машинка «Зингер» работает и тогда, когда я уже вижу сны.

Дедушка сапожничает. У меня и здесь есть дело — точить деревянные шпильки. Сейчас все подметки — на железных гвоздиках, но они ржавеют, и подметка быстро отваливается. Может, и тогда были уже в употреблении железные гвоздики, но я помню деревянные. Из ровной, без сучков чурки старой березы нужно было напилить кружки и оставить сохнуть под поветью, потом наколоть брусочки толщиной около трех сантиметров и длиной сантиметров десять и тоже просушить. С этих брусочков легко скалывались поперечные пластинки толщиной два-три миллиметра. Сапожный нож острый, и им легко срезать кромку у пластинки с двух сторон: упрешь ее в верстак — жик-жик, и пластинка острая, а затем уже коли гвоздики-шпильки. Дедушка наколюшкой (такое сапожное шило) накалывает отверстие в подметке сапога, вставляет шпильку, стук сапожным молотком — и гвоздь в подметке. Шпильки набиваются в два ряда, это не только красиво, но и очень прочно от влаги сухие березовые гвоздики только разбухнут и еще прочнее будут держать подметку, и она не отскочит, пока не износится.

А еще дедушка подшивает валенки, вернее, делает вторую подошву на валенках. чтобы они дольше служили и можно было в них ходить без галош. Или обшивает кожицей задник валенка, чтобы в галошах тот скоро не протирался. Моя обязанность — сучить из льняных ниток, смолить варом и вощить воском дратву, вдевать ее в иголку. Но сапожная штопальная игла — большая ценность, и поэтому дедушка чаще всего пользуется щетиной, самой обыкновенной щетиной с загривка дикого кабана, можно и с домашнего, но та мягче. У дедушки такой щетины — целый пук. Ею можно и подошву пришить, и маленькую латочку в неудобном месте: щетинка гибкая и где угодно пролезет.

Много интересного и на улице. Старшие ребята в соседнем сарае организовали театр, идет представление о пограничниках и шпионах. Билеты по десять копеек, и у меня нет гривенника, и меня не пускают, начинаю реветь: я тоже хочу «видеть войну». Заглядываю тайком в сарай, пограничники там в настоящих гимнастерках.

Такие гимнастерки я скоро увидел у нас дома… Бабушка кормила усталых и запыленных солдат, а они говорили: «Немец прет». Я стал приставать к бабушке: «А какие они, немцы?..»

Грузим на телегу узлы, меня усаживают на них… Куда-то едем… Потом возвращаемся… У нас в доме — немцы! Мы с бабушкой и мамой теперь живем за печкой, а дедушка — в сарае. Бабушка уже не стегает одеяла, дедушка не сапожничает. Один раз отодвигаю занавеску: в углу возле окна сидит немец в наушниках и крутит ручки рации, слышна музыка, потом четко по-русски… Другой немец в это время намазывал масло на хлеб, увидел меня и махнул ножом возле самого моего носа, я прячусь за занавеску и больше уже не вылезаю из-за печки.

По улице мимо нашего дома ведут человека, в горелой гимнастерке, босиком, со связанными проволокой руками. Почему-то помню его черным. И не только он, все почему-то из тех дней помнится в черном цвете. Как шли черные танки… В школу я еще не ходил, но читать и считать умел. Считал танки, их было много, так много, что и снег стал тоже черным…

Меня закутывают тоже во что-то черное, и мы прячемся в болоте. Наутро домой, но дома уже нет, только груда дымившихся головешек. Бабушка нашла ком соли, который лежал на припечке. Аккуратно собрали соль, потом и глину, смешанную с солью, ссыпали ее в кувшин. Это все, что у нас осталось от дома…

## «И поцеловала в учебнике все портреты…»

***Зина Шиманская — 11 лет.***

***Сейчас — кассир.***

***Живет в Минске.***

В день, когда началась война, мы были в цирке. Мы ничего не знали. В десять часов пошли в цирк, а вышли: на улице все зареванные, все говорят: «Война!» Мы: «Ура!» Дети… Мы читали в «Пионерской правде», как освобождали Западную Белоруссию, как мальчишки помогали бойцам, в газете печатались фотографии. Мы обрадовались, что и мы себя проявим.

Я даже вам расскажу, что, когда освобождали Западную Белоруссию, мы с подружкой, начитавшись в газетах о разных подвигах, решили идти помогать нашим. Мы удрали из дому. Перед этим собирали какие-то продукты. Она пришла ко мне ночевать, а на рассвете рано встали и тихонько вышли из дома. А брат, видимо. следил, как мы последние дни шушукались, что-то пихали в мешочки. Мы вышли во двор, и он нас вернул.

А мальчишки из нашего класса, я знаю, удирали на финскую, на испанскую войну.

И когда немцы вошли в город, а вошли они в Минск быстро, с этим трудно, с этим невозможно было смириться. В городе стал «новый порядок», как это ни называли, снова открылись школы. Мама послала меня в школу. Она решила, что война войной, а прерывать учебу не надо. На первом уроке географичка, та самая, что нас учила и до войны, стала говорить против Советской власти. Я встала и сказала: «Больше в такой школе учиться не буду». И ушла…

Пришла домой и поцеловала в учебнике литературы все портреты… Я очень любила литературу…

## «Возьмите наших детей, а мы пойдем защищать город…»

***Инна Левкевич — 10 лет.***

***Сейчас — инженер-строитель.***

***Живет в Минске.***

В первые же дни над нами рвались бомбы… На земле лежали столбы и провода. Люди бежали, но все равно предупреждали друг друга: «Осторожно провод! Осторожно — провод!», чтобы никто не зацепился, не упал.

Еще утром двадцать шестого мама выдавала зарплату, она работала бухгалтером на заводе, а вечером мы уже были беженцами. И когда уходили из города, то видели, как горела наша школа. Пламя бушевало в каждом окне. Мы рыдали, что горит наша школа. Нас было четверо у мамы, трое шли пешком, а младшая у мамы на руках. Мама еще говорила, что ключ взяла с собой, а квартиру забыла закрыть. Она пыталась останавливать машины, кричала и просила: «Возьмите наших детей, а мы пойдем защищать город». Она не верила, что враг войдет в город.

Страшным и непонятным было все. После бомбежки встанешь с земли, а рядом с тобой лежавший человек не поднимается… Я уже давно взрослая, но передать это состояние и сейчас не могу… А в первые дни… Я росла сорванцом, и мне было интересно посмотреть: как это летят бомбы, как это они свистят и как они падают. И вот я ложилась на землю, накрывалась пальто и через петельку для пуговицы наблюдала, как бомбы летят… Так было, пока я не увидела первого убитого. Тогда я испугалась…

Сестре Ирме было семь лет, она несла примус и мамины туфли, страшно боялась потерять эти туфли. Туфли были новые, бледно-розового цвета, с граненым каблуком. Мама взяла их нечаянно, а может, потому что это была у нее самая красивая вещь…

И с ключом, и с туфлями мы скоро вернулись назад в город. Есть было нечего. Собирали лебеду, если лебеду. Не было дров. Немцы спалили колхозный сад возле Минска, боялись партизан. Мы ходили и обрубали там пеньки, чтобы хоть немного нагреть печь. Из дрожжей делали печенку: жарили дрожжи на сковородке и у них появлялся привкус печени. Мама дала мне деньги, чтобы я купила хлеба на рынке. А там старая женщина продавала козлят, и я подумала, что обеспечу всю нашу семью, купив козленка. Козленок подрастет — и у нас будет много молока. И я купила на все деньги, что у меня были, козленка. Я не помню, чтобы мама меня ругала, помню только, что мы несколько дней были голодные: денег больше у нас не было. Мы какую-то затирку варили и козленку, я брала его с собой спать, чтобы ему было тепло, но он замерзал. И скоро умер… Это была трагедия, мы очень плакали, не разрешали его выбрасывать. Мама ночью тихонько выбросила его, а нам сказала, что козленка съели мыши.

Но в оккупации мы отмечали все майские и октябрьские праздники. Обязательно пели песни, у нас вся семья была певучая. Пусть это была картошка в мундирах, иногда кусочек сахара, но в этот день старались что-то чуточку лучше сделать, пусть назавтра будем голодные, но праздники мы все отмечали. Шепотом пели мамину любимую песню: «Утро красит нежным цветом…» Это обязательно…

Соседка сделала пирожные для продажи и сказала нам: «Возьмите у меня оптом, а продайте в розницу. Вы молодые, у вас ноги легкие». Я решила взяться за это дело, зная, как маме трудно одной прокормить нас. Принесла соседка эти пирожные, мы с сестрой Ирмой сидим, смотрим на них:

— Ирма, тебе не кажется, что это пирожное больше этого? — говорю я.

— Кажется…

Вы не представляете, как хотелось попробовать кусочек.

— Давай отрежем чуточку, а потом пойдем продавать.

Посидели так два часа, и нечего нести на рынок. Потом соседка начала варить подушечки, это такие конфеты, их давно уже нет почему-то в магазинах. Дала она нам продать этих подушечек. Опять мы с Ирмой сидим над ними:

— Большая подушечка, давай, Ирма, немножко полижем.

— Давай…

У нас было одно пальто на троих, одни валенки. Мы часто сидели дома. Самые главные разговоры у нас о том, когда кончится война, как мы будем жить без войны.

Когда война кончилась, мама надела крепдешиновую кофточку. Как у нее осталась эта кофточка, я не помню. Мы все хорошие вещи меняли на продукты. На этой кофточке были черные манжеты, мама спорола их, чтобы ничего не было мрачного, а только светлое. Сразу мы пошли в школу и с первых дней стали разучивать песни для парада…

## «У меня сердце болит…»

***Анна Можейко — 7 лет.***

***Сейчас — зубной врач.***

***Живет в Бобруйске.***

Трудно сегодня поверить, но в семь лет я запомнила больше, чем в десять. Особенно первые дни войны запомнила. Бегут все…У кого вещи, а у нашей бабушки все руки заняты детьми. И тут говорят, что нас окружили немцы. Взрослые стали закапывать вещи, кто бросать. А у меня была кукла и две маленькие тарелочки. Я тарелочки закопала, а куклу закапывать не хочу, не могу с ней расстаться. Рядом тоже маленький мальчик бежал, он одной рукой держался за мамину юбку, а в другой у него была собачка. Когда нас начали бомбить, он стал бледный-бледный и схватился за сердце: «У меня сердце болит…» Потом бросился в моей бабушке: «Бабушка, помолитесь богу, чтобы нас не убили!» Она плачет, и собачка его плачет. Моя бабушка никогда не молилась, а тут стала молиться: «Господи, где ты, если дети так страдают?..»

## «Только мамин крик слышала…»

***Лида Погоржельская — 7 лет.***

***Сейчас — кандидат сельскохозяйственных наук.***

***Живет в Минске.***

В первый день войны мы были подняты мамой рано утром, и мама сказала: «Война!» И мы стали собираться в дорогу. Еще страха не было. Мы смотрели а папу, папа наш был спокойный. Он был партийный работник. Каждому, сказал маме, надо взять с собой что-нибудь. Я ничего не сообразила взять, а сестра младшая захватила куклу. Мама взяла на руки нашего маленького братика. Папа догнал нас уже в пути…

Когда папа нас догнал, мы немного успокоились. Папа у нас в семье был главный, потому что мама была очень молодая, она в шестнадцать лет вышла замуж. Она не умела даже готовить. А папа был сирота, он все умел. Я помню, как мы любили, когда у папы было время и он мог что-нибудь вкусное нам приготовить. Это был праздник. Мне и сейчас кажется, что нет ничего вкуснее манки, которую варил папа. И вот сколько мы ехали без него, столько мы его ждали. От Кобрина, где жили. мы отъехали немного. Обоз был большой, и ехали медленно.

Встретили колонну каких-то военных. Я только помню, что он ехали из Бреста, ехали на лошадях и были одеты в новенькую красноармейскую форму. Никто не догадался, что это диверсанты. Папа вышел им навстречу, и я услышала мамин крик… Выстрела я не слышала… Только мамин крик слышала… Я помню, что эти военные даже не слезали со своих лошадей… Когда мама закричала, я побежала… Все куда-то побежали… Я бежала, пока не запуталась и не упала в высокой ржи…

До вечера кони стояли, ждали. А мы все вернулись на прежнее место, когда темнеть начало. Помню, как взрослые копали яму… Как потом нас с сестренкой подталкивали: «Идите… Попрощайтесь с отцом…» Я прошла два шага, а дальше идти не смогла… Села на землю… А сестренка рядом со мной… Братик спал, он был совсем маленький. Он ничего не понимал… А мама наша лежала на телеге без сознания, нас к ней не пускали…

Так никто из нас и не видел папу мертвого. И не запомнил его мертвым… Я всегда, когда вспоминала его, почему-то вспоминала в белом кителе. Очень молодого и красивого… Даже сейчас, когда я уже старше своего папы…

В Сталинградской области, куда нас привезли, мама пошла работать в колхоз. Мама, которая ничего не умела делать, не знала, как полоть грядки, стала ударницей. У нее руки были сильнее папиных. Но что я вам скажу: сиротами мы себя не чувствовали. У нас не было папы, и у кого-то еще не было папы… У другого не было мамы… Или брата… Или сестры… Или дедушки… Горе было у всех. И в войну мы сиротами себя не чувствовали. Нас жалели и растили все… Помню тетю Таню Морозову. У нее погибло двое детей, она была одна. И она от себя отрывала все для нас, как наша собственная мать. А это же был совершенно чужой человек… Но за войну стал родной. Братик, когда подрос, говорил, что у нас нет папы, зато у нас две мамы: наша мама и тетя Таня.

Еще помню, как нас по дороге в Сталинградскую область бомбили и мы бежали прятаться. Мы бежали прятаться не к маме, а к солдатам. И не было случая, чтобы солдат не взял ребенка и не закрыл своим телом. И каску на голову наденет, и собой закроет. Кончится бомбежка, и мама нас ругает. что м от нее убегаем. Но все равно, как только снова начнут бомбить, мы бежим к солдатам. И он тебя накроет, и ты под ним сидишь, как цыпленок…

Как только Минск освободили, мы решили возвращаться. Мама наша коренная минчанка, но когда мы вышли на минском вокзале, она не знала, куда идти. Это был другой город. Это были одни развалины…

Я уже в Горецкой сельхозакадемии училась… Жила в общежитии, жило нас в комнате восемь человек. Все — сироты. Никто нас специально не селил, в общежитии не одна такая комната была. И я помню, как мы ночью все кричали… А я еще могла сорваться с койки и куда-то бежать… Девочки меня поймают и держат. Тогда я начинаю плакать… И они следом… Всей комнатой ревем… А наутро надо идти слушать лекции.

Но вот мы все трое — и я, и сестра, и брат — выросли, все получили высшее образование. Мы не стали злыми людьми, мы стали больше в людей верить, больше их любить. У всех нас есть теперь свои дети. Одна наша мама не смогла бы нас такими вырастить. Нас, детей войны, жалели и растили все…

## «Мы играли, а солдаты плакали…»

***Володя Чистоклетов — 10 лет.***

***Сейчас — музыкант.***

***Живет в Ростове-на-Дону.***

Война застала меня в санатории Совет-Квадже на Черном море. Утром пошли в лес, услышали гул самолетов и начали играть «в войну», не подозревая, что где-то уже идет настоящая война.

Через несколько дней нас привезли в Ростов. На город уже падали первые бомбы. Взрослые рыли щели, строили баррикады, готовясь к уличным боям… А мы, мальчишки, сторожили ящики, в которых были сложены бутылки с зажигательной смесью, подвозил песок и воду на случай пожара.

Все школы превратились в госпиталя. В семидесятой школе размещался армейский госпиталь для легкораненых. И туда направили маму. Ей разрешили и меня взять с собой. Куда ехал госпиталь, туда ехали и мы.

После очередной бомбежки запомнил груду книг среди раскрошенного камня, подобрал одну, она называлась «Жизнь животных». Большая, с красивыми картинками. Всю ночь не спал, читал и не мог оторваться… Попался бы сейчас Брем, купил, не задумываясь. Очень картинки помню…

В ноябре сорок второго начальник госпиталя приказал выдать мне форму, правда, ее пришлось срочно перешивать. А сапоги на меня не могли найти целый месяц. Так я стал воспитанником госпиталя. Что делал? Одни бинты могли свести с ума. Их не хватало. Приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте скрутить тысячу штук в день! А я наловчился делать то быстрее взрослых. Потому, наверное, так ловко получилась и первая самокрутка, когда старшина, пряча улыбку, вручил мне пачку махорки, как полноправному бойцу. Покуривал (смеется)… тихонько от мамы… Хотелось скорее стать мужчиной.

Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то, и другое в дело пошло. Соль — поварам, парафин — мне. Пришлось овладеть специальностью, не предусмотренной никакими воинскими списками — делал свечки. Это похуже бинтов! Надо ведь, чтоб они еще и горели…

Мама плакала, а я все равно мечтал сбежать на фронт. В то, что меня могут убить, не верил. Послали однажды за хлебом… Чуть проехали, начался артобстрел. Били из минометов. Сержанта убило, возницу убило, меня контузило. Долго не разговаривал, а когда вернулась речь, заикался.

А это уже в Польше… Среди раненых оказался чех — тромбонист Пражской оперы! Начальник госпиталя обрадовался ему и, когда тот пошел на поправку, попросил пройти по палатам, поискать музыкантов. Оркестр получился отличный. Меня научили играть на альте, на гитаре научился уже сам. Мы играли, а солдаты плакали… Может, поэтому и стал после войны музыкантом.

В разбитом немецком поселке увидел: велосипед валяется. Обрадовался. Сел и поехал. Хорошо так идет! Я за войну ни одной детской вещи не видел…

## «А нас у мамы четверо…»

***Иван Титов — 5 лет.***

***Сейчас — мелиоратор.***

***Живет в Пинске.***

Стали бомбить деревню, а нас у мамы четверо! И все мы малые, самому старшему брату семь лет, мы ничего не понимали — прятались в саду за старые яблони. А мать собирала нас и несла в погреб.

Когда немецкие солдаты зашли в хату, мы залезли на печку. Мать забросала нас старыми тряпками. Потом, когда спалили нашу хату, когда разбомбили деревенские «могилки» и покойники лежали наверху, как убитые, мать плакала: «Такая беда, детки, что ни на земле, ни под землей не спасешься. Пойдем в лес…»

И что удивительно! И в войну и после войны мы, мальчишки, играли «в войну». После войны надевали на головы солдатские каски, которые находили в лесу, играли в настоящих бункерах, блиндажах и окопах. А матери нас ругали… А до войны, я помню, не ругали…

## «И понял — это отец…»

***Леонид Хасеневич — 5 лет.***

***Сейчас — инженер-конструктор.***

***Живет в Минске.***

Отлично помню до м своего деда — деревянный, за штакетником на траве бревна, песок, в котором мы играли. Еще помню, как мама нас с сестренкой водила фотографироваться куда-то в городе и как Эллочка плакала, и я ее утешал. Фотография эта сохранилась, единственная наша довоенная фотография.

Потом все воспоминания в каком-то черном цвете. Если эти, первые, в светлом тоне — трава зеленая-зеленая, такая светлая акварель, и песок желтый-желтый, и штакетник желтый-желтый… То потом все в темных красках: меня, кашляющего от дыма, куда-то выносят, на улице — вещи, узлы, почему-то стоит один стул, люди плачут. И мы с мамой долго идем по улицам, я держусь за юбку.

…Потом мама исчезает, остаются бабушка и дедушка. У меня появился друг, на два года старше, — Женя Савочкин. Ему семь лет, мне — пять. Меня учат грамоте по книге сказок братьев Гримм. Учит бабушка по своей методике, с подзатыльниками. И учит Женя, читая книгу. Но я больше люблю слушать сказки, особенно когда рассказывает бабушка. Ее голос похож на мамин. Однажды веером приходит красивая женщина и приносит что-то очень вкусное. Я понимаю с ее слов, что мама жива, что она, как и папа, воюет. Кричу счастливый: «Мама скоро вернется!» За такие слова получаю от бабушки ремнем. За меня вступается дед. Когда они улеглись спать, я собрал все ремни в доме и забросил за шкаф.

Все время хочется есть. Ходим с Женей в рожь, она растет прямо за домами. Увидели легковой автомобиль, удираем. Буквально из нашей калитки меня выдергивает офицер в зеленой форме с блестящими погонами и то ли стеком, то ли ремнем стегает. От страха окаменел — боли не чувствую. Вдруг вижу бабушку: «Паночек, миленький, отдай внука. Богом прошу, отдай!» Бабушка перед офицером на коленях. Офицер уходит, я лежу в песке. Бабушка на руках несет меня в дом. Я с трудом говорю. После этого долго болею…

Еще помню, что по улице идут подводы, много подвод. Дед с бабушкой открывают ворота. И у нас поселяются беженцы. Через некоторое время они заболевают тифом. Их забирают, как мне объясняют, в больницу. Еще через какое-то время заболевает дед. Сплю с ним. Худеет и еле ходит по комнате бабушка. Ухожу днем играть с мальчишками. Возвращаюсь вечером — ни деда, ни бабушки нет дома. Соседи говорят, что их тоже отвезли в больницу. Мне страшно — я один. Я уже догадываюсь, что из той больницы, куда отвезли беженцев, а сейчас деда с бабушкой, не возвращаются. Страшно быть одному в доме, даже днем страшно. Меня забирает к себе брат деда.

Минск бомбят, прячемся в погребе. Когда я выхожу оттуда на свет, глаза слепит солнце и я глохну от рокота моторов. По улице идут танки. Прячусь за столб. Вдруг вижу — на башне красная звезда. Наши. Сразу бегу к нашему дому: раз пришли наши, значит, и мама пришла. Подхожу к дому — возле крыльца стоят какие-то женщины с винтовками. Они подхватывают меня и начинают расспрашивать. Одна из них мне чем-то нравится. Она подходит ко мне ближе, обнимает. Остальные женщины начинают плакать. Я как заору: «Мама!» Как куда-то провалился потом…

Помню, как мама привезла из детского дома сестричку, и она меня не признавала — забыла совсем. Помню, как я обнаружил спящим возвратившегося с войны отца. Он спал, а я вынул у него из планшета документы и прочел. И понял: это отец. Он спал, а я сидел и смотрел на него, пока он не проснулся. И у меня все время дрожали коленки…

## «Закрой глаза, сынок… не смотри…»

***Володя Парабкович — 13 лет.***

***Сейчас — персональный пенсионер.***

***Живет в городском поселке Узда Минской области.***

Родом я с Витебщины. Когда мне было семь лет, умерла мать. Жил я у тети. Обязанностей было много, как у всех деревенских мальчишек: пасти коров, заготавливать дрова, гонять лошадей в ночное. Хватало дел и на огороде. Зато зимой катались на деревянных санках, на самодельных коньках, тоже деревянных подбитых железками и подвязанных к лаптям веревками, ходили на лыжах из досок и клепок развалившихся бочек.

До сих пор помню, будто только вчера было, как я надел первые свои ботинки, купленные отцом. И какое было горе, когда поцарапал их сучком в лесу. Мне так их было жалко. что я думал: лучше бы порезал ногу — зажила бы, чем ботинки поцарапал. В этих же ботинках я уходил с отцом из Орши, когда город бомбили фашистские самолеты.

Они нас расстреливали в упор. Это было страшно. На дороге лежали убитые. Отец просил: «Закрой глаза, сынок… Не смотри…» Я боялся смотреть и на небо — там было черно от самолетов, и на землю — везде лежали убитые. Отец упал и не поднялся. Я сидел над ним и просил: «Папа, открой глаза. Папа, хоть на минутку открой глаза». Какие-то люди кричали: «Немцы!» — и тянули меня с собой. А я не мог понять, что отец больше не встанет, что вот так в пыли на дороге я его должен бросить. На нем нигде не было крови, он будто спал. Меня от него оттянули силой, но много дней я шел и оглядывался, ждал, что отец меня догонит. Я не мог поверить, что его нет. Так остался я один и в одном суконном костюме.

После долгих скитаний оказался в детском доме города Мелекесса Куйбышевской области. Несколько раз пытался удрать на фронт, но каждый раз это оканчивалось неудачей. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В лесу, при заготовке дров для детдома, не удержал топор, он отскочил от дерева и угодил мне по пальцу правой руки. Воспитательница перевязала меня своей косынкой и отправила в городскую поликлинику.

На обратном пути в детдом с Сашей Ляпиным, который меня сопровождал, около горкома комсомола мы заметили моряка в бескозырке с ленточкам, он приклеивал на доске объявление. Подошли ближе и увидели, что это правила приема в школу юнг Военно-Морского Флота на Соловецких островах. Школа юнг комплектовалась только добровольцами. Преимущество в наборе предоставлялось детям моряков и воспитанникам детских домов. Как сейчас слышу голос того моряка:

— Ну, что, хотите быть моряками?

Ответили ему:

— Мы из детского дома.

— Тогда заходите в горком и пишите заявление.

Не передать восторг, который охватил нас в тот момент. Ведь это был прямой путь на фронт. А я уже не верил, что попаду на фронт и смогу отомстить за отца.

Мы зашли в горком комсомола и написали заявление. Нас включили в списки для прохождения медицинской комиссии. Один из членов комиссии посмотрел на меня и сказал:

— Очень он худенький и маленький.

А другой, в офицерской форме, тоже вздохнул:

— Ничего, подрастет и окрепнет.

Нас переодели во флотскую форму, с трудом подбирая нужные размеры. Увидя себя в зеркале в морской форме, в бескозырке, я был счастлив. Через сутки на пароходе мы шли к Соловецким островам. Все меньше миль оставалось до острова. И хотя было поздно, мы не спали. Кто-то из моряков гнал нас с палубы:

— Шли бы вы, ребята, в кубрик, там тепло, да и выспаться нужно.

Ранним утром увидели монастырь, блестевший на солнце, и золотившийся лес. Это и были Соловецкие острова, где открывалась первая в стране школа юнг Военно-Морского Флота. Но прежде чем приступить к занятиям, мы должны были построить школу, а точнее — землянки. Соловецкая земля — сплошной камень. Не хватало пил, топоров, лопат. Научились делать все вручную: копать тяжелый грунт, спиливать вековые деревья, корчевать пни, плотничать. После работы шли отдыхать в холодные палатки, постелью были матрацы и наволочки, набитые травой, под ними лежали хвойные лапки. Накрывались шинелями. Стирали сами, вода со льдом, плакали, так болели руки.

В сорок втором году приняли воинскую присягу, в день двадцатипятилетия Октября. Нам выдали ленточки на бескозырки с надписью «Школа юнг ВМФ», но, к нашему сожалению, не с длинными конами на плечах, а с бантиком на правой стороне бескозырки, вручили винтовки. И в начале сорок третьего я попал для прохождения службы на гвардейский эсминец «Сообразительный». Для меня все было впервые: гребни волн, в которые зарывался носом корабль, «фосфорная» дорожка от гребных винтов, старательно перелопачивающих соленую морскую воду… Зрелище было такое красивое, что захватывало дыхание.

— Страшно, сынок? — спросил командир.

— Нет, — не задумался я ни на секунду. — Красиво!

— Если бы не война, было бы красиво, — сказал командир и почему-то отвернулся.

Мне было только четырнадцать лет…

## «Когда был папа…»

***Лариса Лисовская — 6 лет.***

***Сейчас — библиотечный работник.***

***Живет в городском поселке Смиловичи Минской области.***

…Если я сегодня пойду в лес и услышу гул самолета, бегу на дорогу как сумасшедшая. Не могу слышать гул самолета в лесу…

Папа был в партизанах, фашисты его схватили и расстреляли. Маме женщины подсказали, где их казнили: папу и еще несколько человек. Она побежала туда, они лежали в одних носках… А мама была беременная, ждала третьего ребенка… Три дня мы сидели у соседей в погребе, боялись, что и за нами придут. Это была весна, мы лежали на бульбе, а бульба прорастала… Заснешь, а ночью росточек выскочит и щекочет возле носа.

Вышли мы из погреба, и мама родила братика. Он подрос, начал говорить, и вспоминаем мы папу:

— Папа был высокий…

— Сильный… Как подбросит меня на руках!..

Это мы с сестрой говорим, а братик спрашивает:

— А я где был?

— Тебя тогда не было…

Он начинает плакать, что его не было, когда был папа…

## «…я уже не плакал»

***Володя Малей — 13 лет.***

***Сейчас — подполковник милиции.***

***Живет в курортном поселке Нарочь Минской области***

В тринадцать лет я любил военные книжки, военные фильмы, как, наверное, любой мальчишка в этом возрасте. Хочу еще сказать, что все разговоры и беспокойство взрослых перед войной тоже вошли в наши детские головы. Например, я был ворошиловский стрелок и неплохо стрелял из мелкокалиберной винтовки. В группе лучших стрелков был направлен на районные соревнования. Они были назначены на воскресенье, двадцать второе июня…

В ту ночь я не спал, все думал, как покажу себя на соревнованиях, волновался. Утром побежал в школу, там уже собралась вся наша команда, ждали только военрука. Когда мы увидели его, то поняли, что он чем-то сильно взволнован. И он нам первый сказал, то началась война с Гитлером. что стрелять на соревнования мы не поедем.

Через неделю нас уже бомбили, обстреливали… И когда я увидел первого убитого, я уже не плакал. Меня только поразило, что убитый красноармеец лежал на наших грядках с огурцами… А над ним висел большой подсолнух… Прямо над головой… До этого я себе представлял, что погибаю только на поле боя. Хотя имел малое представление о том, что такое поле боя. Одно знал точно, из книжек, конечно: там бегут и кричат «Ура!!». А тут? Лежит молодой парень… среди зеленых огурцов, которые я только вчера поливал…

Я подобрал винтовку убитого… Стал искать еще оружие, смазывал его густой смазкой, заколачивал в снарядные ящики или завертывал в суровый материал, сильно пропитанный смазкой, и зарывал в землю. Везде висели приказы немецкого командования, что за хранение оружия — расстрел. А я спрятал: пять винтовок, ручной пулемет Дегтярева, ротный миномет и большое количество мин, патронов, гранат. Я сразу стал взрослым. И когда в нашей деревне Сарья Верхне-Двинского района организовалась подпольная группа, меня тоже зачислили…

## «Первой пришла эта девочка…»

***Нина Ярошевич — 9 лет.***

***Сейчас — учитель физкультуры.***

***Живет в Минске.***

Вечером к старшей сестре приходил жених свататься. Все в доме обсуждали, когда свадьба, куда молодые поедут расписываться. А с самого утра отца вызвали в военкомат. Уже по деревне зашумели — война! Мама растерялась, не знала, что делать. А я только об одном думала: как пережить этот день? Мне еще никто не объяснил, что это не день и не два, что это может быть очень долго.

Стояло лето, была жаркий день. Хотелось пойти на речку, а мама нас собирала в дорогу. У нас был еще брат, его только забрали из больницы, там ему сделали операцию на ноге, и он был на костылях. Но мама сказала: «Надо идти всем». Куда, никто ничего не знал. Прошли мы километров пять. Брать хромал и плакал. Куда с ним дальше? Повернули назад. Дома нас ждал отец. Мужчины, которые утром ушли в военкомат, вернулись, фашисты уже взяли Слуцк.

Увидела первые бомбы — ничего не поняла, пока они на землю не упали. Кто-то подсказал нам, что надо открывать рот, чтобы не оглушило. И вот открываешь рот, закрываешь уши и все равно слышишь, как она летит… Это так страшно, что кожа не только на лице, на всем теле натягивается. Мне было девять лет, а я просила: пусть меня убьет, чтобы ничего этого не слышать и не видеть. Висело у нас на дворе ведро. Когда все утихло, сняли его: там было пятьдесят восемь пробоин. Ведро белое, сверху им показалось, что это кто-то стоит в платочке, и они стреляли…

Немцы ехали на больших машинах, заставленных березовыми ветками. Так у нас, когда свадьбу играли, делали… Наломают-наломают березовых веток… Мы смотрели через плетень, тогда заборов не было, а плетни… На людей вроде похожи… Я хотела увидеть, какие у них головы? Почему-то у меня было такое представление, что у них нечеловеческие головы… Мы уже знали, что они убивают… А они едут, смеются, балуются… Молодые все… На губной гармошке играют…

За несколько дней за деревней возле молокозаводе вырыли большую яму, и каждый день в пять-шесть утра оттуда доносились выстрелы. Как начнут там стрелять, даже петухи перестают петь, прячутся. Едем мы с отцом под вечер на подводе, он придержал коня недалеко от той ямы. «Пойду, — говорит, погляжу». Там и его двоюродную сестру расстреляли. Он идет, а я за ним.

Вдруг отец поворачивается, закрывает от меня яму: «Закрой глаза, дочка, не смотри туда». Я только увидела, когда переступала ручей, что вода в нем красная… И как вороны поднялись… Их было так много, что я закричала… А отец после этого несколько дней ничего в рот взять не мог. Увидит ворону и в хату бежит, его трясет…

В Слуцке в парке повесили две партизанские семьи. Стояли большие морозы, повешенные были такие замерзшие, что они звенели. Как звенят замерзшие деревья в лесу…

Папа наш помогал партизанам, а когда нас освободили, ушел на фронт. Уже без него мне сшили первое платье за войну. Сшила его мама из портянок, они были белые, их покрасили чернилами. На один рукав чернил не хватило. А мне хотелось показать подружкам новое платье. И я стала в калитке боком, то есть хороший рукав показывала, а плохой прятала к дому. Мне казалось, что я такая нарядная, такая красивая!

В школе впереди меня сидела девочка Аня. У нее погибли отец с матерью, они жили с бабушкой. Они были беженцы, из-под Смоленска. Школа ей купила пальто, валенки и блестящи галоши. Учительница принесла и положила все это ей на парту. А мы сидели притихшие, потому что ни у кого из нас не было ни таких валенок, ни такого пальто. Мы завидовали. Кто-то из мальчишек толкнул Аню и сказал: «Повезло как!» Она сидела, сидела, а потом заплакала. Плакала навзрыд все четыре урока.

Когда вернулся с фронта отец, все пришли смотреть на нашего папу… И на нас, потому что к нам вернулся папа. Первой пришла эта девочка…

## «Я — твоя мама…»

***Тамара Пархимович — 11 лет.***

***Сейчас — секретарь-машинистка.***

***Живет в Минске.***

…Мы спим, а пионерский лагерь бомбят. Выскочили из палаток, бегаем и кричим: «Мама! Мама!» Меня воспитательница за плечи трясет, чтобы я успокоилась, а я кричу: «Мама! Где моя мама?» Пока она меня к себе не прижала: «Я — твоя мама…»

У меня на кровати висели юбочка, белая кофточка и красный галстук. Я их надела, и мы пошли на Минск. По дороге многих детей встречали родители, а моей мамы не было. Вдруг говорят: «Немцы в городе…» Повернули все назад… Кто-то мне сказал, что видел мою маму убитую… И тут у меня провал в памяти… Как мы доехали до Пензы — не помню. Как меня привезли в детдом не помню… Помню только, что нас было много, что спали мы по двое на одной кровати.

Иду из столовой, дети мне говорят: «Приехала твоя мама». А мама мне снилась каждую ночь. И вдруг она наяву, но мне казалось, что это во сне… Вижу — мама! И не верю. Несколько дней меня уговаривали, а я боялась к маме подходить. Мама плачет, а я кричу: «Не подходи! Мою маму убили…» Я уже боюсь ее…

## «Просим: можно облизать?..»

***Вера Ташкина — 10 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Ростове-на-Дону.***

За год до войны умер отец. У мамы нашей осталось семеро детей на руках. Было трудно. Но потом, в войну, она казалась счастьем, эта мирная жизнь.

Сказали взрослые, что — война, но мы не испугались. Мы часто играли «в войну», и это слово было нам очень хорошо знакомо. И мы удивлялись, почему громко, навзрыд плачет мать. Только позже поняли, какая беда пришла к нам. Помню, как вскакивали среди ночи, бежали по лестнице, прятались от бомб. От голода брат съел угол печки. Мать брала последние вещи, ездила и меняла на картошку, на кукурузу. Сварит мамалыги, разделит, а мы на кастрюлю поглядываем, просим: можно облизать?.. А после нас еще кошка лижет, она тоже ходила голодная. Не знаю, что ей оставалось после нас в кастрюле.

Все время ждали наших: «Вот наши фашистам дадут! Вот наши придут!» Когда стали бомбить наши самолеты, я не побежала прятаться, а побежала смотреть на наши бомбы. Нашла осколок…

— И где это тебя носит? — встречает дома испуганная мать. — Что ты там прячешь?

— А я не прячу… Я принесла осколок…

— Вот убьет, будешь знать…

— Что ты, мама! Ведь это от нашей бомбы осколок. Разве он мог меня убить?

## «Я была ему по колено…»

***Наташа Григорьева — 3 года.***

***Сейчас — детский врач.***

***Живет в Минске.***

То, что со мной было в три года, помню яснее, чем в шесть лет. Странно. Я хорошо помню первый страшный день войны…

Мы куда-то бежали… Мама накрывала мне голову маленькой подушечкой-сумочкой, когда нас бомбили. Фашистские самолеты улетали, мы бежали дальше. Мама несла меня на руках… Я видела, что она очень устала, но мне было страшно расстаться с этими теплыми, нежными руками и особым материнским запахом. Я еще теснее прижималась к ней и отказывалась перейти на руки к папе. Бомба упала недалеко, мама закрыла меня своим телом. Каким-то чудом все остались живы. К вечеру у меня что-то случилось с речью. Даже не могла произнести слово «мама».

Самолеты летали низко-низко… Так низко, что я долго думала: они катятся и ревут по земле. И поэтому, когда увидела танки, закричала маме: «Самолеты идут…»

Всех погнали назад, в город… Три дня у нас ничего не было во рту, кроме воды. Сели отдохнуть… Надо мной стоял фашистский солдат и что-то ел из консервной банки. На нас он не смотрел… Я была ему по колено…

## «Пока он не улыбнулся…»

***Галя Давыдова — 11 лет.***

***Сейчас — кастелянша.***

***Живет в Минске.***

…Видела много фашистских солдат, но ни одного не помню. Мне казалось, что все они на одно лицо. И единственное, что я запомнила, — это страх. И еще — голод. Если рядом со мной кто-то что-то ел, я старалась скорее закрыть глаза и уснуть. Уснуть до того, как он начнет глотать.

Кончилась война, а я еще много лет спать боялась ложиться, боялась засыпать. Вдруг засну, а за мной придут… Или я умру… Что-то такое вот страшное со мной произойдет… Наступала ночь, и для меня это было мучение, кошмар. А увижу днем яркое солнце, плачу-плачу. Если день не солнечный, то ничего, а увижу яркое солнце, сразу вспоминаю родителей. У меня погибли отец, мать, две сестры… Остался один брат… После войны он нашел сначала мамину сестру. Он так изменился, что она его не признавала, пока он не улыбнулся… Только тогда она узнала улыбку нашего отца… И так мы были рады, что остался у нас один мужчина… Пусть еще мальчик…

## «…еще пол-ложечки сахара»

***Эмма Левина — 13 лет.***

***Сейчас — типографский работник.***

***Живет в Минске.***

В тот день, когда началась война, мне оставался ровно месяц до четырнадцати лет.

— Нет! Мы никуда не поедем, никуда. Тоже мне придумали — война! Не успеем отъехать от города, как она и закончится. Не поедем, не по-е-едем! так говорил мой отец, член партии с тысяча девятьсот третьего года. Не раз он сидел в царских тюрьмах, принимал участие в Октябрьской революции.

Но уехать все-таки пришлось. Хорошенько полили цветы на окнах, цветов у нас было множество, закрыли окна и двери, только форточку оставили открытой, чтобы кошка могла выходить, когда ей надо. Взяли с собой самое необходимое. Папа всех убедил, что через несколько дней вернемся. А Минск горел…

Не пошла с нами только средняя сестра, она была старше меня на три года. Долго мы о ней ничего не знали… А это было уже в эвакуации, но однажды мы получили от нее письмо с фронта, потом еще и еще. Потом пришла благодарность от командования части, в которой служила сестра. Кому только мама его не показывала! Все хвалилась своей дочерью. И председатель колхоза дал маме в честь такого события один килограмм фуражной муки. Вкусными лепешками мама тогда угощала всех.

Деревенской работы мы не знали, ведь мы самые что ни на есть городские люди. Но работали хорошо. Сестра, которая до войны работала судьей, выучилась на трактористку. Но вскоре начали бомбить Харьков, и мы поехали дальше.

Уже в дороге узнали, что везут нас в Казахстан. В одном вагоне с нами ехало семей десять, у одних была беременная дочь. И вот когда опять стали бомбить поезд, налетали самолеты, никто не успел выскочить из вагона. Тут мы слышим бомбы и слышим крик: у беременной оторвало ногу. Этот ужас до сих пор сидит у меня в памяти. Женщина начала рожать… И родной отец стал принимать роды. И все это на виду у всех. И на наших детских глазах… Стоит мне только глаза закрыть — я это вижу: крик, гром, кровь, грязь… И ребенок рождается…

Выехали мы из-под Харькова летом, а на конечную нашу станцию приехали к зиме. Долго не могла привыкнуть, что нас не бомбят, не обстреливают. И был у нас еще один враг — вши! Огромные, средние, маленькие! Черные! Серые! Всякие. Но одинаково безжалостно кусающие, не дающие покоя ни днем, ни ночью. Нет, вру! Когда поезд двигался, они нас не так кусали. Вели себя более-менее смирно. Но как только мы вошли в дом, боже мой, что они начинали вытворять, будто мстили, что долго ехали. Вся спина и руки у меня были изъедены, были в нарывах… Когда я снимала кофточку, мне становилось легче, а у меня больше нечего было надеть. Но все равно пришлось ее сжечь, такая она была вшивая, и я накрывалась газетой, ходила одетая в газету. Газета у меня была вместо кофточки. Отмывала нас хозяйка такой горячей водой, что если бы я сейчас мылась такой водой, то у меня бы слезла кожа.

Мать наша была прекрасная хозяйка, прекрасная кулинарка. Только она могла так приготовить суслика, что его можно было есть, хотя мясо суслика считается не очень съедобным. Лежит суслик на столе… От него на версту противный запах, неповторимо противный запах… А другого мяса никакого нет, и ничего у нас нет… И мы едим этих сусликов…

Жила рядом с нами очень хорошая, добрая женщина. Она видела все наши страдания и сказала маме: «Пусть ваша дочь помогает мне по хозяйству». Уж очень я была плоха. Ушла она в поле, а меня оставила с внуком, показала, что где лежит, чтобы я его накормила и сама поела. Я подойду к столу, посмотрю на еду, а брать боюсь. Мне казалось, что если я возьму что-нибудь, то все сразу исчезнет, что это сон, прекрасный сон. Не то что есть, я даже пальцем боялась крошечку тронуть — только бы все это не исчезло. Я лучше буду смотреть, долго буду смотреть. То сбоку, то сзади посмотрю… Глаза боялась закрыть, думала, когда открою, то ничего этого не будет. Так за весь день в рот ничего не взяла… А у этой женщины были корова, овцы, куры. И она оставила мне масло, яйца…

Пришла хозяйка вечером, спрашивает:

— Ела?

Отвечаю:

— Ела…

— Ну, иди тогда домой. А это маме отнеси. — И дает мне хлебушка. — А завтра снова приходи.

Пришла я домой, и эта женщина — сразу за мной. Я испугалась: не пропало ли чего? А она целует меня и плачет:

— Что же ты, дурочка, ничегошеньки не ела? Почему все на месте лежит? и гладит, гладит меня по голове.

Зимы в Казахстане суровые. Топить печь нечем. Спасал коровий навоз. Раненько утром встаешь и ждешь, когда корова выйдет со двора, подставляешь ей ведро. Корова, спасибо ей, сделает свое дело. Ты бегом к другой. Бегаешь от коровы к корове. Да я ведь и не одна, все эвакуированные здесь. Наберешь полное ведро, выпьешь возле своего дома и быстрее назад. Потом все это перемешивалось с соломой, высушивалось, и получались такие черные лепехи… Этим мы отапливались.

…Умер папа, и меня взяли в ремесленное училище. Выдали форму: пальто, обувь, — хлебну. карточку. Я ходила стриженая, а тут у меня уже отросли волосы, и я заплетала косички. Когда получала комсомольский билет, у меня уже были хорошие волосы. Несла билет в руках, а не в кармане. Боялась в карман положить, вдруг потеряю. Сердце билось: тук-тук-тук-тук.

Дома мама приготовила настоящий чай, с заваркой. Еще бы, такой праздник! А мне дала, как имениннице, добавку — еще пол-ложечки сахара…

## «Домик, не гори! Домик, не гори!..»

***Нина Рачицкая — 7 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Минске.***

Вспоминаются какие-то отрывки, иногда — очень ярко…

Как они приехали на мотоциклах… У каждого было ведро, и они тарахтели этими ведрами. А мы спрятались… У меня еще было два маленьких братика четыре и два года. Мы с ними спрятались под кровать и весь день просидели там.

Помню, как я очень удивилась, что молодой фашистский офицер, который стал жить у нас, был в очках. А я себе представляла, что в очках ходят только учителя. Он жил с денщиком в одной половине дома, а мы в другой. Братик, самый маленький, у нас простыл и сильно кашлял. У него была большая температура, он весь горел, плакал ночами. Наутро офицер заходит на нашу половину и говорит маме, что если киндер будет плакать, не давать ему спать по ночам, то он его «пуф-пуф» — и показывает на свой пистолет. Ночью, как только брат закашляет или заплачет, мать хватает его в одеяло, бежит на улицу и там качает, пока он не заснет или не успокоится.

Забрали у нас все, мы голодали. На кухню нас не пускали, варили они там только себе. Брат маленький, он слышит запах и пополз по полу на этот запах. А они каждый день варили гороховый суп, очень слышно, как пахнет этот суп. Через пять минут раздался крик моего брата, страшный визг. Его облили кипятком на кухне, облили за то, что он попросил есть. А он был такой голодный, что подойдет к маме: «Давай сварим моего утенка…» Утенок у него был самой любимой игрушкой, он никому его в руки не давал, а тут говорит: «Сварим утенка и все будем сытые…»

При нас, при нашей маме, они, не стесняясь, могли освободить желудок и все другое такое сделать. Я была маленькая, но я была девочка и очень стеснялась, что взрослые дяди так плохо поступают. Нам с детства мама с папой внушали, что не все можно делать, когда рядом другие люди. А тут взрослые дяди и делают все… Я вот уже выросла, а как вспомню об этом…

Отступая, они в последний день подожгли наш дом. Мама стояла, смотрела на огонь, и у нее ни слезинки не было. А мы втроем бегали и кричали: «Домик, не гори! Домик, не гори!» Вынести из дома ничего не успели, я только схватила свой букварь. Всю войну я спасала его, спала с ним, он под подушкой. Очень хотела учиться. Потом, когда мы в сорок четвертом году пошли в первый класс, мой букварь был на тринадцать человек.

Остался в памяти первый послевоенный концерт в школе. Как пели, как танцевали… Я отбила ладошки, так хлопала. Мне было весело, пока какой-то мальчик не вышел на сцену и не стал читать стихотворение. Он читал громко, стихотворение было длинное, но я услышала одно слово — «война». Оглядываюсь: все сидят спокойно. А у меня страх: только война кончилась и опять война? Я это слово слышать не могла Срываюсь и бегу домой… Прибегаю, мама что-то варит на кухне: значит, никакой войны нет. Тогда я — назад, в школу, на концерт.

Папа наш с войны не вернулся, маме прислали бумажку, что он пропал без вести. Уйдет мама на работу, мы соберемся втроем и плачем, что папы нет. Перевернули дом, искали бумажку, где было про папу. Думали: там не написано, что папа убит, там написано, что папа пропал без вести. Порвем эту бумажку, и придет весть, где наш папа. Но мы бумажку не нашли. А когда пришла с работы мама, она не могла понять, почему в доме такой беспорядок. Она спросила у меня: «Что вы здесь делали?» За меня ответил младший брат: «Папу искали…»

До войны любила, когда папа рассказывал сказки, он знал много сказок и умел их рассказывать. После войны сказки я уже не хотела читать…

## «Она пришла в белом халате, как мама…»

***Саша Суетин — 3 года.***

***Сейчас — слесарь.***

***Живет в райцентре Щучине Гродненской области.***

Помню отдельными картинками… Маму в белом халате… Отец — офицер, мама работала в госпитале. Это потом уже старший брат рассказал. А я помню только белый мамин халат… Даже лица не помню, только белый халат… И еще — белую шапочку, она всегда стояла на маленьком столике, именно стояла, а не лежала, такая накрахмаленная.

Вторая картинка.

Мама не пришла… К тому, что папа часто не приходил, я привык, а мама раньше возвращалась домой всегда. Мы с братом одни сидим несколько дней в квартире, никуда не выходим: а вдруг появится мама. Стучат чужие люди, одевают и куда-то ведут нас. Я плачу:

— Мама! Где моя мама?..

— Не плачь, мама придет, — утешает меня братишка, он старше меня на три года.

Мы оказываемся в каком-то длинном то ли доме, то ли сарае, на нарах. Все время хочется есть, я сосу пуговицы на рубашке. они похожи на леденцы, которые привозил из командировок отец. Я жду маму.

Третья картинка.

Какой-то мужчина запихивает нас с братом в угол нар, накрывает одеялом, забрасывает тряпками. Начинаю плакать, он гладит меня по голове. То же брат мне потом рассказывал, что мы оказались в концлагере, там брали у детей кровь. Взрослые нас прятали.

Но однажды мне надоедает долго сидеть под одеялом. Начинаю тихо, а потом громко плакать. Кто-то сбрасывает с меня и брата тряпки, стягивает одеяло. Открываю глаза, возле нас стоит женщина в белом халате:

— Мама! — качусь я к ней.

Она гладит меня сначала по голове, потом по руке. Затем берет что-то из металлической коробочки. Но я не обращаю на это никакого внимания, я вижу только белый халат и белую шапочку.

Вдруг! — острая боль в руке. У меня под кожей иголка. Не успеваю накричаться, как теряю сознание. Прихожу в себя — надо мной сидит тот самый мужчина, который нас прятал. Рядом лежит брат.

— Не пугайся, — говорит мужчина. — Он не мертвый, он спит. У вас взяли кровь.

— Это была не мама?

— Нет…

— Она пришла в белом халате, как мама… — и я закрываю глаза.

И дальше ничего не помню: кто и как нас спас в лагере, как оказались мы с братом в детдоме, как узнали, что родители наши погибли… Что-то случилось с моей памятью. Пошел в первый класс. Дети два-три раза прочтут стихотворение — и запомнили. А я десять раз прочту и не запоминаю. Но запомнил, что двойки мне учителя почему-то не ставили. Другим ставили, а мне нет…

## «Тетенька, возьмите меня на руки…»

***Марина Карьянова — 4 года.***

***Сейчас — киноработник.***

***Живет в Минске.***

…Вот если бы спросить: что такое детство? Каждый бы сказал что-то свое. А для меня детство — это мама с папой и конфеты. Все детство я хотела маму с папой и конфет. За войну ни одной конфеты не то что не попробовала на вкус — какая она, даже не видела. Первую конфету я съела через несколько лет после войны, через лет пять.

А мамку с папой я не нашла. Даже фамилии своей настоящей не знаю. Подобрали меня в Москве на Северном вокзале.

— Как зовут? — спросили в детдоме.

— Мариночка.

— А фамилия?

— Фамилии не знаю…

Записали Марина Северная.

Как хотелось, чтобы кто-то обнял, приласкал. А ласки было мало, кругом война, у всех — горе. Иду по улице… Впереди мать детей своих ведет. Одного возьмет на руки, принесет, этого поставит — другого берет. Сели они на скамеечку: она посадила меньшего к себе на колени. Я стояла, стояла… Смотрела, смотрела… Подхожу к ним: «Тетенька, возьмите меня на колени…»

## «…и стала качать, как куклу»

***Дима Суфранков — 5 лет.***

***Сейчас — инженер-механик.***

***Живет в Минске.***

…Не так по моему детскому сознанию ударило слово «война», как напугало слово «самолеты». «Самолеты!» — и мать стала нас сгребать с печи. А мы боимся с печи слезать, боимся из хаты выходить, пока она одного снимет, другой назад лезет. Нас — пятеро.

Если раньше птицы были далеко-далеко, высоко-высоко, то тут нас с птичьего полета расстреливают. И кажется, что это так низко, что нигде на земле не спасешься. Мама нас, меньших, рушниками к себе привязывала, а старшие сами бежали. Двоюродная моя сестра, ей было десять лет, несла своего братика пяти лет. Бежала-бежала, сил не хватило, и она упала. И пролежали они в снегу всю ночь, и он замерз, а она жить осталась. Выкопали ямку его похоронить, она не дает: «Мишенька, не умирай! Зачем ты умираешь?» Думали. что с ума сошла.

Жили мы в болоте, курени себе построили и так жили. Курени — это такие буданчики: одни голые бревна и дырка вверху… Для дыма. А внизу — болото… И зимой, и летом в них жили. На сосновых ветках спали. Пришли раз с мамой из леса, хотели что-нибудь в хате взять. Кто пришел, всех согнали в школу. Поставили на колени и направили на нас пулеметы. Стоят на коленях женщины и мы. И мы, дети, одного роста и пулеметами.

Слышим: в лесу стреляют. Немцы: «Партизаны!» — и к машинам. А мы — в лес…

После войны я долго железа боялся. Лежит осколок, а у меня страх, что он еще раз взорвется. Соседская девочка, три годика, нашла «лимонку»… И стала качать, как куклу… В тряпки завернула и качает… Граната маленькая, как игрушка, только тяжелая. Мать добежать не успела…

После войны в нашей деревне Старые Головчицы Петриковского района еще два года хоронили детей. Каждый день плакали матери…

## «Мне уже букварь купили…»

***Лиля Мельникова — 7 лет.***

***Сейчас — учительница.***

***Живет в Минске.***

Я должна была пойти в первый класс, мне уже букварь купили и портфель. Сестре Рае было пять лет, а Томе — три года. Жили мы в Россонах, отец наш работал директором лесхоза, но за год до войны он умер. Жили мы с мамой.

В тот день, когда до нас докатилась война, мы все трое были в детском саду, и самая маленькая тоже. И вот всех детей разобрали, а мы остались, за нами никто не приходит. Нам было страшно. Мама прибежала последняя. Она работала в лесхозе, они сжигали какие-то бумаги, закапывали. Поэтому она задержалась.

Мама сказала, что будем эвакуироваться, что нам дали подводу. Надо было взять с собой самые необходимые вещи, помню, что в коридоре стояла корзина, положили мы эту корзину на телегу, сестричка взяла свою куклу. Мама хотела куклу оставить, кукла была большая, сестра стала кричать: «Не оставлю!» Выехали мы за Россоны, и перевернулась наша телега, раскрылась корзина, и оттуда посыпалась обувь. Оказалось, что мы ничего не взяли с собой: ни поесть, ни смены одежды. Мама была очень растеряна и перепутала корзины, взяла ту, в которую собирала обувь для починки.

Не успели мы собрать эту обувь, как налетели самолеты и стали бомбить беженцев, обстреливать из пулеметов. Куклу нашу продырявили насквозь, а сестричка осталась совершенно целой, даже без царапины.

Вернулись мы назад и стали жить уже при немцах. Мама носила продавать вещи отца, помню, что первый раз она выменяла костюм на горох. Было у нас большое старое одеяло, ватное. Мама шила из него бурки, кто просил, за что ей платили, как могли. Когда у нас была затирка, когда яйцо одно на всех.

Мама не говорила, что она помогает партизанам, но я догадывалась, потому что она часто куда-то уходила и не говорила куда. Когда она шла что-то менять, то мы знали. А тут она уходила — и все. Я гордилась мамой и говорила своим сестричкам: «Скоро придут наши. Придет дядя Ваня (это папин брат)…»

В тот день мама налила молоко в бутылку, заткнула пробкой и пошла, а нас закрыла на ключ. Мы трое залезли под стол, на нем была большая скатерть, там тепло, и играли в дочки-матери. Вдруг слышим треск мотоциклов, затем страшный стук в дверь, и мужской голос с искажением произносит мамину фамилию. Я почувствовала что-то недоброе. А у нас под окном со стороны огорода стояла лестница, мы спустились по ней. Я схватила одну сестру за руку, вторую посадила на шею, это у нас называлось «аты-баты», и мы вышли на улицу.

Там собралось много детей. Те, кто приехал за мамой, нас не узнали, не нашли. Они ломают дверь, а я вижу, что на дороге показалась мама, такая маленькая, такая худенькая. И немцы ее увидели, они побежали туда, наверх, на горку, схватили маму, заломили ей руки и ударили. А мы бежим и кричим все втроем, кричим, сколько есть силы: «Мама!» Они ее втолкнули в мотоциклетную коляску, она только крикнула соседке: «Феня, милая, ты посмотри за моими детьми…» Нас соседи отвели от дороги, но каждый боялся к себе брать: а вдруг придут за нами? И мы пошли плакать в канаву. Домой нельзя, нам уже рассказывали, что в соседней деревне забрали родителей, а детей сожгли, закрыли в доме и сожгли. И мы боимся войти в дом, что нас сожгут в нашем доме. Так было, наверное, три дня. То мы в курятнике сидим, то к огороду нашему подойдем. Есть хочется, а в огороде ничего не берем, потому что мама ругалась, что мы рано рвем морковку, когда она еще не выросла, горох обрываем. Мы ничего не берем и говорим, что мама, конечно, переживает, что мы все уничтожим на огороде. Она не знает, что мы ничего не трогаем. Взрослые передавали, и дети нам приносили, кто брюкву вареную, кто картофелину, кто бурак.

Потом нас забрала к себе тетя Арина. У нее остался один мальчик, а двоих она потеряла, когда уходила с беженцами. Мы все время вспоминали маму, и тетя Арина повела нас к коменданту тюрьмы, стала просить о свидании. Комендант сказал, что разговаривать с мамой нельзя, единственное, что он нам разрешил, — это пройти мимо ее окошка.

Мы пошли мимо окошка, я увидела маму… Нас вели так быстро, что маму увидела я одна, а сестренки не успели. Мамино лицо было красное, я поняла, что ее сильно били. Она нас тоже увидела и только крикнула: «Дети!..» И больше не выглянула в окошко. Потом нам передавали, что она увидела нас и потеряла сознание.

Через несколько дней нам передали, что маму расстреляли. Я и сестричка Рая понимали, что нашей мамы уже нет, а самая младшая, Томочка, говорила, что вот вернется мама, я все ей расскажу, если мы ее обижали, не брали на руки. Когда нам давали поесть, я лучший кусочек отдавала ей. Так, я помнила, делала мама…

Когда маму расстреляли, подъехала к нашему дому машина, стали забирать вещи. Соседи позвали нас «Идите, попросите валенки, теплые пальто… Скоро будет зима, а вы одеты по-летнему». Стоит мы втроем, маленькая Томочка сидит у меня на шее, и я говорю: «Дядя, дайте ей валенки». Полицейский в это время их взял и несет. Я договорить не успела, как он пнул меня ногой наотмашь, сестра свалилась и ударилась головкой о камень. Наутро мы увидели большой нарыв. У тети Арины был платок почти как одеяло, она завяжет ей головку, а нарыв все равно видно. Я новью обниму сестренку, а головка у нее большая-большая. И у меня страх. что она умрет.

Узнали об этом партизаны и забрали нас к себе. В партизанском отряде нас утешали все, как могли, очень любили. Мы даже забыли на какое-то время, что у нас нет мамы с папой. У кого-то рубашка порвалась, рукав свернули, нарисовали глаза, нос — и подарили нам куклы. Учили нас читать, про меня даже стихи сочинили:

Лиля в ванночке сидит,

Лиля жалобно кричит:

«Ой, беда, беда, беда,

Очень мокрая вода…»

Когда стало опасно, нас отвезли назад к тете Арине. Командир — а командиром отряда был Петр Миронович Машеров — спросил: «Что вам надо? Что бы вы хотели?» А нам надо очень много, нам нужны гимнастерки. И нам сшили платья из такой же ткани, как гимнастерки. Зелененькие такие платья, с отстроченными карманчиками. Нам всем скатали валенки, всем пошили шубы, сшили варежки. Помню, что привезли нас к тете Арине на возу вместе с мешочками, в мешочках была мука, крупа. Даже оставили кожу, чтобы тетя Арина смогла пошить нам ботиночки.

Когда к тете Арине пришли с обыском, она выдала нас за своих детей. У нее долго выпытывали, почему мы беленькие, а сын у нее черненький. Что-то они знали… Погрузили в машину нас и тетю Арину с мальчиком, привезли в Игрицкий концлагерь. Помню, что это было зимой, спали на полу, на досках только солома, спали так: я, потом маленькая Тома, с ней рядом — Рая, а дальше тетя Арина и ее мальчик. Я лежала с краю, рядом со мной часто менялись люди. Дотронусь ночью до холодной руки и понимаю, что человек умер. Понимала, что могу умереть и я, но боялась за маленьких сестричек. У маленькой в партизанском отряде нарыв на головке пропал, в концлагере появился снова. Тетя Арина все время прятала этот нарыв, потому что знала: увидят, что девочка больная, расстреляют. Она завязывала сестре голову толстыми платками. Ночью я слышала, как она молилась: «Господи, если ты забрал их мать, сохрани детей». А я просила: пусть останется хотя бы маленькая Томочка, она такая еще маленькая, что ей еще нельзя умирать.

Из концлагеря нас куда-то повезли, везли в вагонах для скота. Помню, что доехали мы только до Латвии и там нас разобрали местные жители. Самую первую забрали Томочку. Тетя Арина на руках вынесла ее старому латышу и стала на колени: «Только спасите ее, только спасите». Он сказал: «Если я донесу ее домой, то она будет жить. А идти мне два километра. Через речку, потом — кладбище…» Все мы попали к разным людям. тетю Арину забрали от нас.

Скоро мы узнали, что — Победа. Я пришла к людям, у которых была сестра Рая:

— Куда нам идти?

— Мамы нет… Пойдем заберем Тому, и надо искать тетю Арину.

Поговорили мы так и пошли искать тетю Арину. И то, что мы ее нашли, это чудо. А нашли благодаря тому, что она очень хорошо шила. Мы зашли в одну хату попить воды. У нас спрашивают: куда мы идем? Отвечаем. что идем искать тетю Арину. Девочка хозяйки говорит: «Идемте, я вам покажу, где она живет». Тетя Арина ахнула, когда увидела нас. Мы были худые, как досочки. Стоял конец июня, самое тяжелое время: старый урожай съели, новый еще не созрел. Мы ели колосья, еще зеленые: натеребим жменьку и глотаем, даже погрызть не успевали. Так хотелось есть.

Недалеко от тех мест, где мы жили, был город Краслав. Тетя Арина сказала, что нам надо ехать в город, ехать в детдом. Сама она болела и попросила, чтобы нас отвезли. Нас привезли рано утром, ворота еще были закрыты, посадили под окошко детдома и уехали. Утром встало солнышко, из дома выбежали дети, все в красненьких туфельках, трусиках, без маечек, с полотенцами в руках. Бегут к речке, смеются. А мы смотрели и не верили, что есть такая жизнь. Дети заметили нас, а мы сидим оборванные, грязные, ни кричат: «Новенькие приехали!». Позвали воспитательниц. У нас никто не спрашивал никаких документов. Нам принесли кусок хлеба и консервы, сказали: «Девочки, вы пока посидите, а мы пойдем баню топить. Помоем вас и покажем, где вы будете жить».

Вечером приехала директор, увидела нас и говорит, что нас надо отвезти в минский детприемник, а там распределят в какой-нибудь детдом, а у них переполнено. А мы как услышали, что нам опять надо куда-то ехать, стали плакать и умолять оставить нас. Директор попросила: «Дети, не плачьте. не могу больше видеть ваших слез», — куда-то позвонила, и нас оставили в этом детдоме. Там был прекрасный, чудный детдом, там были такие воспитательницы, что таких, наверное, сейчас нет.

Нас очень любили. Учили, как надо обращаться друг с другом. Был такой случай. Нам рассказывают, если ты кого-нибудь угощаешь, то не доставай из кулечка конфеты, а поднеси весь кулечек. А тот, кто берет, должен взят одну конфету, а не весь кулечек. И вот, когда тот разговор был, один мальчик отсутствовал. Приходит сестра оной девочки и приносит коробку конфет. Девочка — воспитанница детдома — подносит коробку конфет этому мальчику, и он берет у нее всю коробку. Мы смеемся. Он растерялся и спрашивает: «А что надо делать?» Ему говорят, что надо было взять одну конфету. Тогда он догадался: «Теперь я понимаю, почему надо взять одну конфету, потому что вам плохо, когда я все забрал». Да, нас учили поступать так, чтобы было хорошо всем, а не оному.

Старшие девочки шили всем портфели, шили их даже из старых юбок. В праздник директор детдома обязательно раскатывала из сырого теста огромный, как простыню, блин. И каждый себе по кусочку отрезал и делал вареники, кто какие хочет: маленький, большой, круглый. треугольник…

Когда нас было много, мы были вместе, то мы не вспоминали о папе с мамой. А в изоляторе, когда болели, лежим, ничего не делаем, только и говорили о них, о том, кто и как попал в детдом. Мне один мальчик рассказал, как у него всех сожгли, а он в это время уехал на лошади в соседнюю деревню. Он говорил, что маму очень жалко, папу очень жалко, но больше всего жалко маленькую Наденьку. Маленькая Наденька была в белых пеленочках, а ее сожгли. Или еще, когда на полянке собираемся в тесный кружок, рассказываем друг дружке о папе с мамой.

Привезли в детдом маленькую девочку. Ее спрашивают:

— Как твоя фамилия?

— Мария Ивановна.

— Как тебя зовут?

— Мария Ивановна.

— Как твою маму звали?

— Мария Ивановна.

Отзывалась она только на «Марию Ивановну». Учительница у нас была Мария Ивановна, и эта девочка Мария Ивановна.

На Новый год она рассказывала стихотворение Маршака: «Курица-красавица у меня жила…» И ее прозвали дети — курица. Дети есть дети, надоело всем звать ее Марией Ивановной. И вот один наш мальчик пошел к своему другу в ремесленное училище, которое шефствовало над нами, и что-то они поспорили, и он назвал другого мальчика курицей. Тот обиделся: «Почему ты меня курицей назвал? Разве я на курицу похож?» А наш мальчик говорит, что в детдоме есть девочка, и она очень на тебя похожа. У нее такой же нос, такие глаза, а зовем мы все ее курицей, и рассказал почему.

И оказалось, что это родная сестра того мальчика. Когда они встретились, то вспомнили, как ехали, как бабушка им что-то разогревала в консервной банке, как бабушку убило при бомбежке… Как старая соседка, бабушкина подруга, звала ее уже мертвую: «Мария Ивановна, поднимитесь, у вас двое внуков осталось живых… Как вы умерли, Мария Ивановна? Зачем вы умерли, ария Ивановна?» Девочка, оказывается, все это помнила, но не была уверена, что это она помнит, что это с ней было. У нее в ушах только осталось два слова: Мария Ивановна.

Мы все очень обрадовались, что она нашла брата, потому что у всех у нас кто-то был, а у нее не было никого. У меня, например, было две сестры, у кого-то брат… У кого-то были двоюродные братья и сестры. А у кого не было, те сами роднились: давай ты будешь мой брат или давай ты будешь моя сестра. И тогда уже оберегали друг друга, заботились. В нашем детдоме собралось одиннадцать Тамар… Фамилии у них были: Тамара Неизвестная, Тамара Незнакомая, Тамара Безымянная, Тамара Большая и Тамара Маленькая…

Что еще помню? Помню, что нас мало ругали в детдоме, нас совсем не ругали. Мы катались зимой на санках с домашними детьми, и я видела, как мать поругает и даже отшлепает своего ребенка, если он наденет валенки на босую ногу. Когда мы выбегали на босую ногу, нас никто не ругал. Я специально надевала так валенки, чтобы меня поругали. Мне так хотелось, чтобы меня поругали.

Я хорошо училась, и мне сказали, что я должна подтянуть с учебой одного мальчика. Надо было пойти к нему в семью. И мне было страшно. Я думала: а какие там вещи, как и где они стоят, как там надо себя вести? Семья — это было что-то недоступное для нас, самое желанное. Постучала к ним в дверь, и у меня замерло сердце…

## «…и не женихи, и не солдаты»

***Вера Новикова — 13 лет.***

***Сейчас — диспетчер.***

***Живет в Минске.***

Сколько лет прошло, никогда не хотелось вспоминать…

Помню солнечный день такой, ветер гонит паутину. Горит наша деревня, горит наш дом. Мы вышли из лесу. Маленькие дети кричит: «Красиво!» А все плачут, мама плачет.

Дом сгорел, мы копались в золе, но там ничего не было. Нашли вилки обгорелые. Печь как была, так и осталась, там стояла еда: блины драные. Мама вынула сковороду руками: «Ешьте, дети». А есть блины нельзя, дымом пахнут, но ели, потому что ничего больше не было.

Двоюродную сестру мою повесили. Муж ее был командиром партизанского отряда, а она ребеночка ждала. Кто-то немцам донес, они приехали. Выгнали всех жителей, скомандовали, чтобы никто не плакал. Возле сельсовета росло высокое дерево, они подогнали коня. У сестры была длинная коса, как накинули петлю, она вынула из нее косу… Сани с конем дернули… Бабы закричали… Плакать не разрешали, подходят и убивают того, кто плачет. Подростки шестнадцать-семнадцать лет, их постреляли… Они плакали…

Закрою глаза и сейчас эту косу вижу… Длинную-длинную… И как на земле убитые лежали… Такие молодые, что они еще и не женихи, и не солдаты…

## «Хотя бы один сыночек остался…»

***Саша Каврус — 10 лет.***

***Сейчас — кандидат филологических наук.***

***Живет в Минске.***

Я учился в школе. Вышли мы на перемену, начали играться, как обычно, в этот момент фашистские самолеты сбросили бомбы на нашу деревню. А нам уже рассказывали о боях в Испании, о судье испанских детей. Теперь бомбы летели на нас…

Первым в нашу деревню Брусы Мядельского района ворвался отряд СС. Открыли огонь, постреляли всех собак и кошек, потом стали выпытывать, где живут активисты. В нашей хате до войны был сельсовет, но никто из людей на отца не показал.

Запомнился эпизод, как они за курами гонялись. Словит, поднимет вверх и крутит до тех пор, пока в руке голова не останется, а все упадет на землю. Мне казалось, что наши куры кричат человеческими голосами. И коты, и собаки, когда их стреляли. Мне это было страшно, я еще не видел человеческой смерти.

Деревню нашу подожгли в сорок третьем году, мы в этот день копали картошку. Сосед Василий, он был на первой мировой войне и знал немецкий язык, сказал: «Я пойду и попрошу немцев, чтобы не жгли деревню». Пошел и его самого пожгли.

Куда нам идти? Отец повел нас к партизанам в Козинские леса. Идем, встречаем людей из другой деревни, их тоже сожгли, они говорят, что впереди немцы и идут сюда. Залезли мы в какую-то ямку: я, брат Володя, мама с маленькой Любой и отец. Отец взял гранату, и договорились, если немцы увидят нас, то он вырвет чеку. Попрощались уже. Мы с братом сняли ремни, сделали себе петли, чтобы повеситься, надели на шею. Мама поцеловала всех нас. Я слышал, как она сказала отцу: «Хотя бы один сыночек остался…» Тогда отец говорит: «Пусть бегут… Молодые, может, спасутся…» А мне так было жалко маму, что я не пошел.

Слышим — собаки лают, слышим — команды чужие, слышим — стреляют… А лес у нас — это такой бурелом, елки перевернутые, за десять метров ничего не видно. То рядом все было, а то слышим — голоса дальше и дальше. Когда стихло, мама встать не могла.

Вечером встретили партизан, они отца знали. Мы уже чуть шли, голодные. Идем, и один партизан спрашивает у меня: «Что б ты хотел найти под сосной: конфеты, печенье, хлеба кусочек?» Я отвечаю: «Пригоршню патронов». Партизаны потом долго это вспоминали.

Помню, что после войны у нас в деревне был один букварь, а первая книга, которую я нашел и прочитал, был сборник задач по арифметике…

## «Слезы рукавом вытирает…»

***Олег Болдырев — 8 лет.***

***Сейчас — мастер.***

***Живет в Ростове-на-Дону.***

…До Ташкента добирались месяц. Месяц! Там я узнал, что старший брат погиб под Сталинградом. Рвался на фронт, а меня не хотели даже на завод брать, что маленький. «Тебе до десяти еще полгода расти», — всплескивала руками мать. Хмурился и отец: завод — не детский сад, работать надо, как все, по двенадцать часов. Да как работать!

Завод выпускал мины, снаряды, авиабомбы. Отлитые из металла заготовки шлифовались вручную — из шланга, под высоким давлением вырывалась струя песка, раскаленного до ста пятидесяти градусов, отскакивая от металла, песок обжигал легкие, бил в лицо, в глаза… Редко кто выдерживал больше недели.

Но в сорок третьем году, когда мне исполнилось десять лет, отец привел меня в свой, третий, цех. На участок, где сваривали взрыватели для бомб.

Работали мы втроем: я, Олег и Ванюшка, они всего-то на два года постарше меня. Собирали взрыватель, а Яков Миронович Сапожников, отличный специалист своего дела, сваривал его. Потом надо было подняться на ящик, чтобы дотянуться до тисков, зажать муфту взрывателя и воротом с метчиком откалибровать внутреннюю резьбу муфты. А дальше и того проще: вставить пластмассовую пробку и — в ящик. Как полный наберется — на место его. Тяжеловатый, правда, до пятидесяти килограммов весом, но вдвоем управлялись. Якова Мироновича не отвлекали: у него самая тонкая работа. Самая ответственная — сварка!

Самое неприятное — огонь электросварки. Вроде и стараешься не глядеть на синие сполохи, а за двенадцать часов наловишь «зайчиков». Глаза от этого будто песком засыпанные. Трешь, а все без толку. От этого ли, от монотонного ли гудения динамо-машины, которая давала ток для сварки, просто ли от усталости, только иногда по-страшному хотелось спать. Особенно в ночные часы.

Если Яков Миронович видел, что есть хоть малая возможность дать нам передышку, командовал:

— Марш в электродный!

Уговаривать не приходилось: не было на всем заводе уголка уютнее и теплее, чем тот, где сушили горячим воздухом электроды. Забравшись на теплую деревянную полку, мгновенно засыпали. А минут через пятнадцать приходил в электродный Яков Миронович, будил.

Однажды я проснулся раньше, чем он пришел. Вижу: дядя Яша смотрит на нас и слезы рукавом вытирает…

## «Он висел на веревочке, как ребенок…»

***Люба Александрович — 11 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в райцентре Сенно Витебской области.***

Война дошла до нас быстро. Девятого июля, я помню, уже шел бой за наш районный центр Сенно. Появилось много беженцев, так много, что людям некуда было деваться, не хватало домов. У нас, например, разместилось семей шесть с детьми. И так у каждого.

Сначала шли люди, а потом началась эвакуация скота. Это мне очень хорошо запомнилось, потому что было страшно смотреть. Ближайшая станция от нас — станция Богдань, она и сейчас есть, это между Оршей и Лепелем. Сюда, в этом направлении, эвакуировали скот не только из нашего сельсовета, а со всей Витебской области. Лето было жаркое, скот гнали большими табунами: коровы, овечки, свиньи, телята. Лошадей гнали отдельно. Гонщики, которые их гнали, настолько устали, что им было все равно, сколько есть скота, куда он идет. Коровы шли недоенные, они заходили во двор и не уходили до тех пор от крыльца, пока их не выдоят. Хоть на дорогу, хоть на землю… Особенно страдали свиньи, они не выносят жары и длительной дороги. Они шли и падали, от жары все эти трупы увеличивались, и это было так страшно, что вечером я боялась выходить из дому.

Крестьяне, они знают, что такое вырастить одну корову, какой это труд. Они плакали, видя, как гибнет добро, как гибнет живое. Это же не дерево, что упало и молчит, это все кричало, ржало, блеяло, стонало. По ночам мне снились кошмары.

Старшая моя сестра до войны работала в райкоме партии, и ее оставили в подполье. Она принесла домой очень много книг из райкомовской библиотеки, переходящие знамена. Мы их закапывали в саду под яблонями. Закапывали ночью, а у меня было такое чувство, что красное, красный цвет и из-под земли будет виден. Столько было детского страха.

Как пришли немцы, почему-то не помню. Помню, что они уже были, давно были, и вот согнали всех нас: баб, детей, стариков. Поставили впереди пулеметы и приказали говорить, где партизаны, к кому заходили. Все молчали. Тогда они отсчитали каждого третьего и вывели на расстрел. Расстреляли шесть человек: двух мужчин, двух женщин и двух подростков. И уехали.

За ночь выпал свежий снег, красиво. Это Новый год. А под этим свежим снегом лежат убитые. Хоронить было некому, гробы делать некому. Мужчин у нас не осталось. Старые женщины жгли бревна, чтобы хоть немного разогреть землю и вырыть могилы. Они долго стучали лопатами по зимней земле…

Случилось такое — немцы ехали и взорвались на мине, несколько их погибло. Тогда они собрали всех детей, нас было тринадцать человек, проставили впереди колонны… Мы шли, а они за нами ехали. Если надо было, например, остановиться и взять воду из колодца, они сначала запускали к колодцу нас. Так мы шли километров пятнадцать. Мальчишки не так боялись, а девочки шли и плакали. А они за нами на машинах ехали. Помню, что мы шли босиком, а еще только начиналась весна.

Стараюсь не думать, стараюсь забыть. А если не забыть, все время будешь в слезах.

…Привели тех, у кого дети ушли в партизаны, и отрубили им головы на глазах у всех. В одном доме хозяев не нашли, поймали и повесили их кота. Он висел на веревочке, как ребенок…

## «Будете мои дети…»

***Нина Шунто — 6 лет.***

***Сейчас — повар.***

***Живет в Минске.***

До войны мы жили с одним папой, мама умерла. Когда папа ушел на фронт, остались с тетей. Тетя наша жила в деревне Задоры Лепельского района. Через месяц, как папа нас привез к ней и оставил, она наткнулась глазом на сук, выколола глаз, у нее получилось заражение крови, и она умерла. И мы остались одни с братом, а брат был маленький. Мы с ним пошли искать партизан, почему-то мы решили, что там наш папа. Ночевали, где придется. Помню, когда была гроза, мы ночевали в стоге сена, вытянули сено, сделали ямку и ночевали там. Таких детей, как мы, было много. И все искали своих родителей, даже если они знали, что родители убиты, все равно говорили нам, что тоже ищут папу с мамой или кого-нибудь из родственников.

Мне запомнился такой случай. Мы шли по деревне, и в одной хате было открыто окно. И там, видно, недавно пекли картофельные пироги. И когда мы приблизились, брат услышал запах этих пирогов, он потерял сознание. Я зашла в эту хату, хотела попросить кусочек для брата, потому что он бы не поднялся. А я бы его не подняла, сил мало. В хате никого не было, я отломила кусочек пирога, и мы остались ждать хозяев, чтобы не подумали, что мы воруем. Пришла хозяйка, она жила одна. Она нас не отпустила, она сказала: «Будете мои дети…»

В сорок четвертом деревню сожгли, нас подобрали партизаны. Из партизанского отряда на самолете отправили за линию фронта. Там мы узнали, что отец погиб…

## «Мы целовали им руки…»

***Давид Гольдберг — 14 лет.***

***Сейчас — музыкант.***

***Живет в Минске.***

В этот день должно было состояться открытие нашего пионерского лагеря «Талька». Мы ждали в гости пограничников и утром отправились в лес за цветами. Выпустили праздничную стенную газету, красиво украсили арку. Место было чудесное, погода прекрасная. У нас каникулы! Нас даже не насторожил гул самолетов, который слышали мы все утро, такие мы были счастливые.

Вдруг нас строят на линейку и говорят, что утром, когда мы спали, Гитлер напал на нашу страну. В моем сознании война связывалась с событиями на Халхин-Голе, это было что-то далекое и кратковременное. А девочки очень плакали, были очень испуганы. Нам, кто постарше, поручили ходить по отрядам и успокаивать, особенно маленьких. А вечером нам выдали мелкокалиберные винтовки, в лагере было четыре винтовки, по три человека мы стояли и охраняли лагерь. Мне это даже нравилось. Я заходил с этой винтовкой в лес, проверял себя, еще не знал, что это такое — страх.

Несколько дней мы ждали, что за нами приедут. Не дождались никого и сами пошли на станцию Пуховичи. На станции сидели долго. Дежурный сказал, что из Минска ничего не будет, связь прервана. Вдруг прибежал кто-то из детей и сообщил, что идет тяжелый, тяжелый состав. Мы стали на рельсы, сняли галстуки и махали, чтобы остановить поезд. Машинист увидел нас и стал кричать, что остановить поезд он не может, если станет, потом не сдвинется. «Если можете, бросайте детей на платформы!» — кричал он. На платформах сидели люди, и они нам тоже кричали: «Спасайте детей! Спасайте детей!»

Мы стали бросать к ним маленьких. Поезд только чуть медленнее ехал. Открылись вагоны, оттуда тянули руки раненые, подхватывали малышей. И всех до единого погрузили в этот поезд. Это был последний состав из Минска…

Ехали долго. В памяти осталось… Как нас бомбили, как визжали мы и визжали осколки. Как на станциях нас кормили женщины, они откуда-то уже знали, что едет поезд с детьми, и мы целовали им руки. Как оказался с нами грудной ребенок, мать его убило при обстреле. И как женщина на станции увидела его и сняла с головы платочек, отдала вместо пеленочки…

## «Они нам пахли мясом…»

***Зина Гурская — 7 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Минске.***

…Дети грудные заболеют. Чем лечить? Заваривали кипятком яйцо, и эту водичку давали вместо молока. У нас одна курица осталась, она с нами в хате жила, с нами спала, с нами от бомб пряталась. Она привыкла и ходила за нами, как собачка. Как мы ни голодали, а курицу спасли. А голодали так, что мать за зиму сварила все кожухи и кнуты, а нам они пахли мясом.

После войны ни коней, ни коров в деревне не осталось. Одна наша курица. Мужчин старше четырнадцати лет не было.

Я пошла в школу, и что я могла взять с собой. Оторвала то стены кусок старых обоев. Это была моя тетрадка. Выросли осенью бураки, так мы радовались, что сейчас натрем бураков и у нас будут красные чернила. День-два они постоят и становятся черными. Уже было чем писать.

Еще помню, что мама и я любили вышивать гладью, обязательно, чтобы веселенькие цветочки были. Черных ниток я не любила…

## «Мама наша не улыбалась…»

***Кима Мурзич — 12 лет.***

***Сейчас — регулировщица радиоаппаратуры.***

***Живет в Минске.***

Нас было три сестры — Рема, Майя и Кима. Рема — это Электрификация и Мир, Майя — это Первого мая, Кима — это Коммунистический Интернационал Молодежи. Такие имена дал нам отец, партийный работник. В доме у нас было много книг с портретами Ленина и Сталина. В первые день войны мы закопали их в сарае, я оставила себе только «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. Всю войну я ее читала и перечитывала.

Мама ходила в деревню под Минском, меняла платки, свое крепдешиновое платье на продукты. Мы с Майей сидели и ждали маму: вернется или не вернется? Старались друг друга отвлечь от этих мыслей; вспоминали, как до войны ходили на озеро, как танцевали в школьной самодеятельности. Такое все было далекое, такое все хорошее. Говорили о Реме, старшей сестре. Всю войну мы думали, что она погибла. Как ушла двадцать третьего июня на работу на завод, так и не вернулась домой. Кончилась война, мама кругом посыпала запросы, искала Рему. Был такое адресный стол, там всегда было много людей, все друг друга искали. Я носила и носила туда мамины письма. А нам письма не было.

Однажды вернулась с работы мама, и заходит к нам соседка. Она говорит маме: «Танцуйте», — и что-то держит в руке за спиной. Мама догадалась, что это письмо… И упала…

Так сестра нашлась. Мама стала улыбаться. Всю войну, пока мы не нашли сестру, мама наша не улыбалась…

## «Не могла привыкнуть к своему имени…»

***Лена Кравченко — 6 лет.***

***Сейчас — бухгалтер.***

***Живет в Минске.***

…Когда пулеметы строчат из самолета, то кажется, что все пули у тебя в спине. Я просила: «Мамочка, ложись на меня…» Она ляжет, тогда я ничего не вижу и не слышу.

Страшно было потерять маму или чтобы маму убило. Я видела детей возле убитых матерей, одна лежала мертвая, а ребенок сосал у нее грудь. Видно, ее минуту назад убило. Ребенок даже не плакал, сосал грудь и чмокал. А я лежала рядом…

Ехали мы на какой-то машине, и всем детям надевали на головки ведра. А я не хотела, не слушала маму.

Потом помню, как гонят нас в колонне, как у меня забирают маму. Я хватаю ее за руки, цепляюсь за ее моркизетовое платье, она оделась не для войны. Плачу… А фашист меня отшвыривает сначала автоматом, а с земли, когда я упала, — сапогом. Подбирает меня какая-то женщина. И вот мы с ней уже почему-то в вагоне, едем. Куда? Мне так как кажется, что из разговоров взрослых я поняла, что везут нас в Германию. И я у всех спрашиваю: «Зачем я немцам такая маленькая? Что я буду у них там делать?» Когда стало темнеть, женщины позвали меня к дверь и прямо вытолкнули из вагона: «Беги! Может, спасешься».

Свалилась в какую-то канаву, там и уснула. Было холодно, и снился мне сон. что мама укутывает меня во что-то теплое и говорит ласковые слова. Этот сон мне снится всю жизнь.

…Через двадцать пять лет после войны я нашла одну только тетю. Она мне сказала мое настоящее имя, и я долго не могла к нему привыкнуть, не откликалась…

## «Гимнастерка у него была мокрая…»

***Валя Матюшкова — 5 лет.***

***Сейчас — инженер.***

***Живет в Минске.***

…Папа ведет меня в роддом к маме и говорит, что мы скоро купим мальчика. Я хочу представить, какой у меня будет братик. Спрашиваю у папы: «Какой?» Он отвечает: «Маленький».

Вдруг мы с папой где-то высоко, и в окно лезет дым. Папа несет меня на руках, а я прошу, чтобы мы вернулись за моей детской сумочкой. Скоро папы не стало, я иду по улице с какой-то женщиной. Мы идем вдоль проволоки, за которой военнопленные. Жарко, они просят пить. А у меня ничего нет, у меня только две конфеты в кармане. Я бросаю за проволоку эти конфеты. Охранник стреляет, мы с тетей бежим…

Потом помню себя в детприемнике, он был окружен проволокой и охранялся. Там были и такие дети, что не умели еще ходить, а только ползали. Кормили плохо, давали какой-то хлеб, от него так распухал язык, что мы не могли говорить. Думали только о еде. Позавтракаешь и думаешь: скорей бы обед. Пообедаешь: скорей бы ужин. Маленькие пролезали под проволокой и удирали в город. Цель у нас была — помойки. Какая большая радость, если найдешь шкурку от селедки или картофельные очистки. Очистки ели сырыми.

Помню, как меня словил какой-то дяденька. Я стала проситься:

— Дяденька, я больше не буду.

Он спросил:

— Ты чья?

— Я — ничья, я — из детприемника.

Он повел меня домой и накормил. В доме у них была только картошка. Сварили, и я съела целую кастрюлю картошки.

Из детприемника перевезли в детдом, детдом находился напротив мединститута, а там был немецкий госпиталь. Помню низкие окна, тяжелые ставни, которые закрывали на ночь.

Тут кормили хорошо, я поправилась. Меня очень любила женщина, которая там убирала. Когда приходили врачи, мы прятались: «Врачи идут…», — она меня засовывала в какой-нибудь угол, все время говорила, что я похожа на ее дочь.

«Врачи» уходили, я возвращалась в комнату… Помню: лежит маленький мальчик, у него ручка с кровати висит, а по ней кровь течет. А другие дети плачут… Через два-три дня дети менялись. Одних увозили, других привозили, откармливали…

Когда немцы стали удирать из Минска, женщина эта, что меня спасала, вывела нас за ворота: «У кого есть кто-нибудь, уходите. У кого нет, идите в любую деревню, там вас люди спасут».

И я пошла. Жила у одной бабушки… Ни фамилии ее, ни деревни не помню. Помню, что у нее дочку арестовали и мы остались вдвоем — старенькая и маленькая. На неделю у нас был кусочек хлеба.

О том, что в деревне наши, я узнала последняя. Я болела. Как услышала, поднялась и прибежала к школе. Увидела первого солдата, как прилипла к нему. И помню, что гимнастерка у него была мокрая… Так его обнимали, целовали и плакали…

## «Как будто она ему дочь спасла…»

***Геня Завойнер — 7 лет.***

***Сейчас — регулировщица радиоаппаратуры.***

***Живет в Минске.***

Что я запомнила, что осталось в моей памяти на всю жизнь, так это то, как забирали отца. Он был в телогрейке, а лица его не помню, представляете, совершенно исчезло его лицо из моей памяти.

Отца забрали, а нас переселили в гетто. Жили мы у дороги, каждый день к нам во двор летели бамбуковые палки. Я видела фашиста, который стоял у нашей калитки и, когда людей вели на расстрел, ломал эти палки на спинах людей. Я хотела увидеть его и однажды увидела: он был маленький, с лысиной и закатанными рукавами, кряхтел и отдувался, когда бросал к нам палки.

Бабушку нашу мы нашли убитой в квартире, сами ее хоронили. То, что я тогда испытала, не могу назвать страхом, это было что-то страшнее страха. Это был ужас перед тем, что человек так просто исчезает.

Мама ушла менять вещи на продукты, а в гетто начался погром. Обычно мы прятались в погребе, а тут полезли на чердак. Он был с одной стороны полностью разбитый, и это нас спасло. Немцы вошли в наш дом и штыками били в потолок. И не полезли на чердак только потому, что он был разбитый. А в погреб они бросили гранаты.

Мы сидели три дня на чердаке, три дня продолжался погром. А мамы с нами не было. Мы не знали, почему она не вернулась. Кончился погром, стали у ворот и ждем: вернется она или нет. И идет наш бывший сосед, он прошел, не останавливаясь, но мы услышали: «Ваша мама жива». Когда мама пришла, мы втроем стояли и смотрели на нее, никто не плакал, слез не было, а было какое-то умиротворение, как будто война кончилась и ничего плохого уже не будет.

Запомнилось вот такое. Мы стоим с мамой у проволоки, мимо идет красивая женщина. Она остановилась возле нас по ту сторону и говорит маме: «Как мне вас жалко». Мама ей отвечает: «Если вам жалко, возьмите мою дочь к себе». «Хорошо», — задумывается женщина. Остальное они говорят шепотом.

На следующий день мама привела меня к воротам гетто:

— Генечка, ты возьмешь коляску с куклой и пойдешь к тете Марусе (это наша соседка).

Я помню, в чем была одета: голубая кофта, свитерок с белыми помпончиками. Мама меня одела в лучшее, праздничное.

Мама меня толкает за ворота гетто, а я жмусь к ней. Она толкает, а сама слезами обливается. И помню, как я пошла: где ворота были, где пост охраны.

Пришла с колясочкой, куда мама сказала, там меня одели в кожушок и посадили на повозку. Сколько мы ехали, столько я плакала и говорила: «Там, где ты, мама, там и я».

Привезли меня на хутор, посадили на длинную лавку. В этой семье, куда меня привезли. было четверо детей. И они взяли еще и меня. Я хочу, чтобы все знали фамилию женщины, которая меня спасла, — Олимпия Пожарицкая из деревни Геневичи Воложинского района. Страх в этой семье жил столько времени, сколько я там жила. Если бы узнали, что они прячут еврейскую девочку, пусть бы только кто-нибудь пальцем показал в их сторону, расстреляли бы самих и их детей. Появлялись немцы, меня сразу куда-нибудь отправляли. Лес был рядом, это спасало.

Та жизнь, которая была после гетто, запомнилась мне больше, чем гетто. Там я испытала страх одиночества. Женщина эта меня очень жалела, она жалела одинаково своих детей и меня. Если она что-то давала, то давала всем, если она целовала, то целовала всех. Я называла ее мамуся.

Когда к хутору подошли танки, я пасла коров, увидела танки и спряталась. Мне не верилось, что танки наши, но когда различила на них красные звезды, вышла на дорогу. С первого танка соскочил военный, подхватил меня на руки и высоко-высоко поднял. Тут прибежала хозяйка хутора, она была такая счастливая, такая красивая, ей так хотелось чем-то хорошим поделиться, сказать, что они тоже что-то сделали для этой победы. И она рассказала, как они меня спасли, еврейскую девочку. Этот военный прижал меня к себе, а я была такая маленькая и тоненькая, что отпрягалась у него под рукой, он обнял эту женщину, как будто он лично был ей благодарен, как будто она ему дочь спасла. Он говорил, что у него все погибли, что, когда кончится война он вернется и заберет меня в Москву. А я ни за что не соглашалась, хотя не знала — жива моя мама или нет?

Прибежали другие люди, они тоже обнимали меня. И все признавались, что догадывались, кого прячут на хуторе.

Потом приехала за мной мам, а я не хотела к ней идти. Меня привезли домой, я увидела, как брат мой Лева бегает по двору, и бросилась к нему…

## «Стояли одни белые печи…»

***Володя Ампилогов — 10 лет.***

***Сейчас — слесарь.***

***Живет в Брянске.***

Ровненько десять лет мне исполнилось. Играли мы во дворе с мальчишками в палочки-постукалочки. Въехала большая машина, из нее выскочили немецкие солдаты, стали на словить и бросать в кузов под брезент. Привезли на вокзал, машина задом подошла к вагону, и нас, как мешки, побросали туда.

Вагон набили так, что первое время могли только стоять. Взрослых не было, были только дети и подростки. Два дня и две ночи везли с закрытыми дверьми, мы ничего не видели, слышали только, как колеса стучат по рельсам. Днем еще как-то свет пробивался через щели в окнах вагона, а ночью становилось так страшно, что все плакали: нас куда-то далеко везут, а наши родители не знают, где мы. На третий день открылась дверь, и солдат бросил в вагон несколько буханок хлеба. Кто был ближе, успел схватить, и в одну секунду этот хлеб проглотили. Я был в противоположной стороне от двери и хлеба не видел, только мне показалось, что на минуту почувствовал его запах, когда услышал крик: «Хлеб!»

Уже не помню, какие это шли сутки в дороге, состав начали бомбить. В моем вагоне сорвало только крышу. Я был не один, а с дружком Гришкой, ему, как и мне, десять лет, до войны мы учились в одном классе. С первых минут, как нас стали бомбить, мы держались друг за дружку, чтобы не потеряться. Когда сорвало крышу, решили вылезть из вагона через верх и бежать.

В лесу было темно, и мы отчетливо видели, как горел состав, он горел одним большим костром. Всю ночь шли, утром вышли к какой-то деревне, но деревни не было; стояли одни белые печи. Мы искали что-нибудь поесть, но печи стояли пустые и холодные. Пошли дальше. К вечеру опять наткнулись на потухшее пожарище и пустые печи. Шли, шли. Гриша вдруг упал и умер, у него остановилось сердце. Всю ночь я просидел над ним, ждал утро. Утром вырыл руками ямочку и похоронил Гришу. Хотел запомнить это место, но как ты запомнишь, если все кругом незнакомое.

Иду, и от голода кружится голова. Вдруг слышу: «Стой! Мальчик, куда идешь?» Я спросил: «Кто вы такие?» Они говорят: «Мы свои, партизаны». От них я узнал, что нахожусь в Витебской области, попал в Алексеевскую партизанскую бригаду.

Когда окреп немного, стал проситься воевать. Надо мной весело подшучивали и отправляли помогать на кухне. Но случилось такое, что три раза отправляли в разведку людей, и они не возвращались. После третьего раза командир отряда построил всех и сказал:

— В четвертый раз посылать сам не могу. Пойдут добровольцы…

Я стоял во второй шеренге, услышал:

— Кто — добровольцы? — и тяну, как в школе, руку вверх.

А фуфайка у меня была длинная, рукава болтались по земле. Поднимаю руку, а ее не видно, рукава висят, я из них вылезти не могу. Но командир заметил и говорит:

— Выходите.

Сделал я шаг вперед.

— Сынок… — сказал мне командир, и у него покатились слезы.

Дали мне торбочку, старую ушанку, одно ухо у нее было оторвано.

Как только вышел из партизанской зоны, обратил внимание на три густых кудрявых сосны. Острожно присмотрелся и заметил, что там сидят немецкие снайперы. Любого, кто выходил из леса, они «снимали». От снайпера не уйдешь, ну, а появился на опушке мальчик, да еще с торбочкой, трогать не стали.

Вернулся в отряд и доложил командиру, что в соснах сидят немецкие снайперы. Ночью мы их взяли без единого выстрела и живьем привели в отряд. Это была моя первая разведка.

В конце сорок третьего в деревне Старые Челнышки Бешенковичского района меня эсэсовцы словили, били шомполами, били ногами в кованых сапогах. Растаптывали на полу. После пыток вытащили на улицу и облили водой. Это было зимой, я покрылся ледяной кровавой коркой. До моего сознания не доходило, что за стук я слышу над собой. Сооружали виселицу. Я видел ее, когда меня подняли и поставили на колодку.

Петля затянулась, но ее успели сорвать. В засаде сидели партизаны. Когда я пришел в сознание, увидел нашего врача. «Еще две секунды — и все, я бы тебя не спас, — сказал он. — А так ты счастливый, сынок, потому что живой». В отряд меня несли на руках, все во мне было отбито от пяток до макушки…

## «А почему я такой маленький?..»

***Саша Стрельцов — 4 года.***

***Сейчас — летчик.***

***Живет в городе Кобрине Брестской области.***

Отец меня даже не видел, я без него родился. Ему две войны выпало: пришел с финской, началась Отечественная.

От мамы в памяти осталось, что идем мы по лесу и она мне говорит: «Ты не спеши, ты послушай, как падают листья… Как лес шумит…» И мы сидим с ней на дороге, и на рисует мне листочки на песке прутиком.

Еще помню, что хотел быть высоким и спрашивал у мамы:

— Папа был высокий?

Мама отвечала:

— Очень высокий и красивый. Но никогда этим не щеголял.

— А почему я такой маленький?

Я еще только рос. У нас не осталось ни одной отцовской фотографии, а мне нужно было подтверждение, что я на него похож.

— Похож, очень похож, — успокаивала мама.

В сорок пятом мы знали, что отец погиб. Мама сошла с ума, на никого не узнавала, даже меня. И сколько я потом себя помню, то всегда со мной была только бабушка. Бабушку звали Шура, чтобы нас не путали, мы с ней договорились: я — Шурик, она — баба Саша.

Сказок бабушка Саша не рассказывала, с утра до поздней ночи она стирала, пахала, варила, жарила, белила, пасла корову. А в праздники любила вспоминать, как я родился. Сейчас рассказываю вам, а у меня в ушах стоит бабушкин голос: «Был теплый день. У деда Игната отелилась корова, а к старому Якимшуку залезли в сад. И ты появился на свет…»

Над хатой все время пролетали самолеты, наши самолеты. Во втором классе я твердо решил стать летчиком.

Бабушка пошла в военкомат. У нее попросили мои документы, документов моих у нее не было, но она взяла с собой похоронку на отца. Домой вернулась со словами: «Выкопаем картошку, и поедешь в Минск в суворовское училище».

Перед дорогой она одолжила у кого-то муки и напекла пирожков. Военком посадил меня на машину и сказал: «Это тебе почет за твоего отца».

Я ехал на машине первый раз в жизни.

Через несколько месяцев приехала в училище бабушка и привезла мне гостинец — яблоко. Просила: «Ешь», а я не хотел сразу расстаться с ее подарком…

## «Их тянуло на человеческий запах…»

***Надя Савицкая — 12 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Минске.***

…Как раз мы ждали из армии брата. Думали: брат вернется и будем строить ему дом. Отец уже возил на конях бревна, вечером мы все сидели на этих бревнах, и я помню, как мама говорила отцу, что дом поставят большой, потому что у них будет много внуков.

Началась война, брат, конечно, не пришел из армии. Мать без конца плакала: сыночек у нее был один. У нас так — пять сестер и один брат, и этот брат был самый старший из детей. Всю войну мама плакала, и всю войну мы ждали брата. Я так помню, что ждали каждый день.

Услышим, что куда-то пригнали наших военнопленных, — скорее туда. Испечет мама десять бульбин, в узелок — и пошли. Один раз взять с собой было нечего, а в поле стояло спелое жито. Мы наломали колосьев, натерли в руках зерна. И попали на немцев. Высыпали они наше зерно и показывают: становитесь, расстреливать будем. Мы в плач, а мама им сапоги целует. Они на конях сидят, высоко, она хватает их за ноги, целует и просит: «Паночки! Пожалейте… Паночки, как я умру, когда не знаю, где мой сынок? Паночки, а если он живой? Паночки, как я тогда умру?» Не стали они нас стрелять и поехали.

Как они поехали, я стала смеяться. Смеюсь и смеюсь, десять минут прошло, а я смеюсь. Хохочу! Мама меня ругает — не помогло. Мама меня просит — не помогло. Сколько мы шли, столько я и хохотала. Пришла домой хохочу. В подушки зароюсь, успокоиться не могу — хохочу. И весь день я так хохотала. Думали, что я уже с ума сошла.

У меня до сих пор осталось: если испугаюсь, начинаю громко хохотать.

Освободили нас, и мы узнали, что брат погиб. Мама плакала, плакала и ослепла. Жили мы за деревней в немецких блиндажа, потому что деревня вся сгорела, сгорела наша старая хата и бревна для нового дома. Ничего у нас не уцелело, нашли в лесу солдатские каски и в них варили. В лес за ягодами и грибами ходить боялись. Пооставалось много немецких овчарок, они бросались на людей, загрызали детей маленьких. Они же были приучены к человеческому мясу, к человеческой крови. Если мы шли в лес, то собирались большими группами. Матери нас учили, что надо ходить по лесу и кричать, тогда собаки пугаются. Пока ягод насобираешь, так накричишься, что голос потеряешь, охрипнешь. А собаки были большие, как волки. Их тянуло на человеческий запах…

## «Зачем они стреляли в лицо?..»

***Володя Коршук — 6 лет.***

***Сейчас — профессор, доктор исторических наук.***

***Живет в Минске.***

Жили мы в Бресте. Вечером были в кино все втроем: мам, папа и я. А так случалось редко, чтобы мы все втроем куда-нибудь пошли, потому что отец был постоянно занят. Он работал заведующим облоно. Когда утром мама меня растормошила, все вокруг громыхало, стучало, гудело. Это было очень рано, я запомнил сумерки за окнами. Родители суетились, складывали чемодан, помню, что ничего почему-то не находилось.

Жили мы в отдельном доме, у нас был большой сад. Отец куда-то ушел, мы с мамой посмотрели в окно: в саду было много военных, говорили они на ломаном русском языке, а одеты были в нашу форму. И мама сказала, что это немцы. У меня никак не укладывалось в сознании, что в нашем саду, где на столике еще остался со вчерашнего вечера самовар, вдруг — немцы!

Уходили из города пешком. На глазах у меня рассыпался каменный дом впереди и из окна вылетел телефон, посреди улицы стояла кровать, на ней лежала убитая девочка под одеялом. Как будто кровать откуда-то вынесли и поставили, такое все было целое, только одеяло чуть обгоревшее. Сразу за городом начиналось ржаное поле, самолеты обстреливали нас из пулеметов, и все шли не по дороге, а по этому полю.

Вошли в лес, стало не так страшно. Из леса я увидел большие машины. Это ехали немцы, они были веселые, впервые услышал я нерусскую речь. Мне казалось, что язык этот похож на лай злых собак. С одной стороны, был страх, а с другой — хотелось посмотреть: какие они, фашисты? За несколько недель до войны я видел немца, одного-единственного. Он принимал зерно, которое отправляли в Германию. Запомнился высокий, подтянутый и спокойный человек. Сейчас ехали совсем другие люди.

Мы шли долго. Ночью заходили на хутора, нас кормили, обогревали. Многие знали отца, и отец тоже знал многих. Зашли на один хутор, помню о сих пор фамилию учителя, который жил на этом хуторе, — Паук. У них было два дома новый и старый рядом. И они предлагали нам остаться, отдавали один дом. Но отец отказался. Хозяин довез нас до большой дороги, мама попыталась дать ему деньги, но он отрицательно покачал головой и сказал, что денег не надо, что человеческое участие и уважение в тяжелую минуту дороже любых денег. Вот это я запомнил.

Так дошли мы до города Узды, с этих мест был родом мой отец. Поселились у дедушки в деревне Мрочки.

Первый раз партизан в нашем доме я увидел зимой, и с тех пор они мне представлялись людьми в белых маскхалатах… Скоро отец ушел с ними в лес, мы остались у дедушки с мамой.

Мать не помню… Нет, помню… Мама что-то шила… Нет, она сидела за большим столом и что-то вышивала, а я был на печке. Немцы вошли в хату со старостой, и староста показал на маму: «Вот — она». Маме приказали собираться. Вот тут я напугался очень, маму вывели во двор, она звала меня попрощаться; а я забился под лавку, и меня не могли оттуда вытащить. Я уже знал, что немцы убивают.

Маму присоединили к двум другим женщинам, у которых тоже мужья были в партизанах, и повезли. Назавтра их всех нашли недалеко за деревней, они лежали в снегу. Что мне запомнилось, когда маму привезли, так это то, что стреляли почему-то в лицо, у мамы на щеке было несколько черных дырочек от пуль. Я у дедушки все спрашивало: «Зачем они стреляли в лицо, моя мама была такая красивая?..» Дедушка делал гроб, бабушка плакала — я все это видел. Маму похоронили, а я все равно ждал маму, долго не свыкался с мыслью, что ее у меня уже нет. И не мог понять, как могли убить маму, если она ничего плохого не делала, она сидела и вышивала…

Однажды ночью пришел отец и сказал, что забирает меня с собой. Он боялся, что и со мной что-нибудь случится. Первое время жизнь моя в партизанах мало чем отличалась от жизни у дедушки. Отец уходил на задание, а меня оставлял у кого-нибудь в деревне. И вот я помню, как хозяйке, у которой он меня оставил, привезли на санях убитого мужа. Она билась головой об стол, на котором стоял гроб, и повторяла одно слово «ироды».

Отца долго, долго не было, я ждал его и думал: «У меня нет мамы, где-то далеко бабушка с дедушкой, что же я буду один, маленький, делать, если привезут отца на санях убитого?» Когда отец вернулся, мне показалось, что прошла вечность. А пока я ждал, дал себе слово, что буду называть отца только на «вы». Этим мне хотелось подчеркнуть, как я его люблю, как скучаю без него, что он у меня один. Видно, отец вначале не заметил, что я так как его называю, а потом он меня спросил: «Почему ты говоришь мне „вы“?» Я ему открылся, что это потому, что он у меня один, что я им очень дорожу. А он мне объяснил: «Ты тоже у меня один, поэтому мы должны говорить друг другу „ты“. Мы самые близкие на свете люди». Еще я попросил его, чтобы мы с ним никогда не расставались. Сначала он меня уговаривал, что, мол, ты уже взрослый, ты — мужчина, не надо ничего бояться.

— У женщины, у которой убили мужа, еще кто-то есть, а у меня, — говорил я отцу, — ни дедушки, ни бабушки, ни мамы, ни друзей… У меня никого, кроме тебя, нет.

Запомнилась отцовская ласка. Как нас обстреливали, а мы лежали на холодной апрельской земле, травы еще не было. Отец нашел ямку поглубже и сказал мне: «Ты ложись под меня, если меня убьют, ты жить останешься». В отряде меня жалели все. Помню, подошел пожилой партизан, снял мне шапку и долго гладил по голове, и говорил отцу, что у него тоже где-то такой же бегает. А когда мы шли через болото, болото было по пояс, отец попробовал меня нести на себе, но быстро устал. Тогда партизаны стали нести меня по очереди. Этого я никогда не забуду. Не забуду, как нашли они немного щавеля и весь отдали мне. А сами уснули голодные.

…Уже я был в Гомельском детском доме, куда меня и еще несколько партизанских детей переправили на самолете, как только город освободили, и кто-то передал от отца деньги, большую красную бумажку. Мы пошли с мальчиками на базар и на все эти деньги купили конфет. Воспитательница спросила: «Что ты сделал с деньгами. которые передал отец?» Я признался, что купил конфет… «И всего?» — удивилась она.

Освободили Минск, за мной пришел какой-то мужчина и сказал. что отвезет меня к отцу. Сесть в поезд было трудно. Мужчина сел, а меня передали ему в окно.

Встретились мы с отцом, и я снова просил его, чтобы мы никогда, никогда с ним не расставались, потому что одному быть очень плохо. Помню. что встречал он меня не один, а с новой мамой. Она прижала мою голову к себе, а я так соскучился по материнской ласке и мне так было приятно от ее прикосновения, что я сразу уснул у нее на плече.

В десять лет пошел в первый класс. Но я был большой и умел читать, через полгода меня перевели во второй класс. Читать я умел, а писать нет. Вызвали к доске, надо было написать слово с буквой «у». Я стоял и с ужасом думал, что не знаю, как пишется буква «у».

Приходили люди с войны израненные, сосед один вернулся без руки, и я спрашивал у отца, что они теперь будут делать. У меня сложилось такое впечатление, что работ — это только война. А что еще можно делать, и не представлял. Помню, долго недоумевал: чем сейчас будут заниматься люди? В партизанах у отца была какая-то тетрадка, в которую. он все время что-то записывал, но я знал, что у него есть винтовка. Войны нет, война кончилась. А куда денут винтовки, автоматы? Отец объяснил. что все это сдадут. В один из дней я не нашел в шкафу отцовский пистолет, перевернул весь шкаф пистолета не было.

— Как же так, то ты теперь будешь делать, — еле дождался я отца с работы.

— Пистолет мне теперь не нужен, мне нужна будет ручка. Больше стрелять не надо, надо учить таких, как ты, — отвечал он.

## «Боялся, что мама тоже станет белая…»

***Женя Селеня — 5 лет.***

***Сейчас — журналист.***

***Живет в городе Береза Брестской области.***

Был маленький, но приход Красной Армии в нашу Западную Белоруссию помню: во-первых, я изревелся из-за того, что родители не взяли меня с собой встречать красноармейцев; во-вторых, они принесли домой мороженое, вернее, его остатки, так как мороженое почти полностью растаяло. Это чудесное лакомство я пробовал первый раз в жизни! В небе стали появляться самолеты с красными звездами на крыльях. Для нас, пацанов, это было целым событием. А когда высоко-высоко в небе они выделывали разные трюки (откуда нам было знать тогда, что это фигуры высшего пилотажа), то мы стояли, разинув рты и задрав головы.

В то воскресенье двадцать второго июня поли с братом за грибами. Уже было время толстых боровиков-колосовиков. Лесок наш был небольшой, тут мы знали каждый кустик, где какие грибы растут, какие ягоды и даже цветы. Уже возвращались домой, когда со стороны захода солнца услышали гул. К нам приближалась куча (именно так мы тогда говорили — куча, а не группа) самолетов — штук двенадцать — пятнадцать. Летела довольно высоко в определенном порядке. Удивились мы одному, что они черные, именно черными запомнились эти первые фашистские самолеты.

Они летели на восток и выли: у-у-у! Мы знали, что там, куда они летят, станция, там ходили поезда. Когда самолеты падали вниз, под ними что-то гремело и грохотало. Мы побежали домой, а навстречу нам бежала наша мама плачущая, растерянная, со срывающимся голосом. Так и осталось впечатление первого дня войны — мама не зовет ласково, как обычно, а кричит: «Дети! Мои дети!»

Через два дня, наверное, к нам на хутор зашла группа красноармейцев. Запыленные, потные, с запекшимися губами, он жадно пили воду из колодца. И как же просветлели их лица, когда в небе появилось четыре наших самолета. На них были такие четкие красные звезды. «Наши! Наши!» — кричали дети вместе с красноармейцами. Но вдруг откуда-то появились маленькие черные самолеты, они крутились вокруг наших, что-то там трещало, казалось, что кто-то рвет клеенку или полотно. Мы еще не знали, что так трещат пулеметные очереди. За падающими нашими самолетами потянулись красные полосы огня и дыма. Красноармейцы стояли и плакали, не стесняясь своих слез.

Из деревни Кабаки прибежала мамина сестра — тетя Катя. Черная, страшная. Она рассказала, что в деревню приехали немцы, согнали активистов и вывели за околицу, там расстреляли из пулеметов. Среди расстрелянных был и мамин брат, депутат сельского Совета.

До сих пор помню слова тети Кати:

— Они ему разбили голову, и я руками мозги собирала… Они белые-белые…

За один день у нее побелела голова. И когда мама сидела рядом с тетей Катей и плакала, я гладил ее по голове, боялся, что она тоже станет белая…

## «Ты просишь, чтобы я тебя пристрелил…»

***Вася Байкачев — 12 лет.***

***Сейчас — мастер производственного обучения.***

***Живет в Минске.***

Зимой сорок первого года во время зимних каникул вся наша школа принимала участие в военной игре. Перед этим мы изучали строевую подготовку, изготовили деревянное оружие, пошили маскхалаты, одежду для санитаров. Шефы из военной части прилетели на самолетах «кукурузник». Был полный восторг!

А в июне над нами уже летали немецкие самолеты и сбрасывали лазутчиков. Это были люди двадцати двух-двадцати шести дет в серых клетчатых пиджаках и кепках. Вместе со взрослыми мы поймали несколько человек и сдали в сельсовет. И очень гордились, что участвовали в военной операции, она нам напомнила зимнюю игру. Но скоро появились другие. Эти были не в клетчатых пиджаках и кепках, а в зеленой форме с засученными рукавами, в сапогах с широкими голенищами, коваными каблуками, на спине — телячьи ранцы, на боку длинные банки противогазов, и автоматы наперевес. Сытые, тяжелые. Они пели и кричали: «Цвай монат — Москва капут». Отец объяснил: «Цвай монат — это два месяца».

В нашей деревне Малевичи они первые дни не останавливались, катили на станцию Жлобин, где работал мой отец. Но отец уже не ходил на станцию, он говорил нам, что вот-вот вернутся наши войска и погонят немцев назад к границе. Мы верили отцу и ждали наших. А они лежали вокруг: на дорогах, в лесу, в канавах, в поле, на огородах, в торфяных ямах. Было тепло, и ни росли от тепла, их как будто больше и больше становилось с каждым днем.

Отец запряг коня, и мы поехали в поле. Стали собирать убитых и хоронить: клали рядами по десять-двенадцать человек. Мой школьный портфель заполнялся документами убитых. Помню по адресам, что это были уроженцы Куйбышевской области и города Ульяновска.

Через несколько дней я нашел за деревней убитого отца и своего верного друга, четырнадцатилетнего Васю Шевцова. Вася три раза был пробит штыком. При бомбежке погиб дедушка. Как жить дальше? Как жить без отца? Что делать с оружием, которое мы с отцом собрали, кому его отдать? Похоронить отца не смог, бомбили.

Зимой вышел на связь с подпольщиками, показал им, где спрятано оружие. Через какое время не помню, помню, что в этот день на прошлогоднем картофельном поле собирал мерзлый картофель. Вернулся домой мокрый, голодный, но принес четыре килограмма. Только разулся, снял промокшие лапти, как раздался стук в крышку погреба, в котором мы жили. Кто-то на плохом русском языке спрашивал: «Бойкачев здесь?» Когда я показался в люке погреба, команда была вылезти. В спешке вместо ушанки надел буденовку.

Около погреба стояли три лошади, на которых сидели фашисты. Тот, что стоял первым, слез с лошади, набросил ремень мне на шею и привязал к седлу. Мать стала просить: «Дайте я его покормлю». Она полезла в погреб за лепешкой из мерзлой карточки, а они стеганули лошадей и пошли сразу рысью. И волокли меня так километров пять до поселка Веселый.

На первом допросе фашистский офицер задавал простые вопросы: твоя фамилия, твое имя, год рождения, где отец и мать, чем они занимаются? Потом он сказал: «Сейчас ты пойдешь и уберешь комнату для пыток. Посмотри хорошенько на скамейку, может, она и тебе завтра пригодится?» Дали мне ведро с водой, веник, тряпку и повели…

Там я увидел страшную картину: посреди комнаты стояла широкая скамейка с прибитыми ремнями. Три ремня, чтобы привязать человека за шею, за поясницу и за ноги. В углу стояли толстые березовые палки и ведро с водой, вода была красная. На полу стояли лужи крови, мочи и так далее.

Одного ведра воды мне не хватило, чтобы убрать до чистоты. Я носил и носил воду.

Утром офицер позвал меня:

— Где оружие? С кем из подпольщиков держишь связь? Какие получал задания? — вопросы сыпались один за другим, как удары палок.

Я отговаривался, что ничего не знаю, что еще маленький, а на поле собирал мерзлую картошку, а не оружие.

— В погреб его, — приказал офицер солдату.

Меня спустили в погреб с холодной водой. Перед этим показали партизана, которого только что вытащили оттуда. Он не выдержал пыток и повесился, а сейчас лежал на улице под красным одеялом.

Воды было по горло. Я чувствовал, как бьется мое сердце и кровь, как кровь согревает воду вокруг моего тела. Мысль была такая: не потерять бы сознание.

Следующий вопрос: ствол пистолета наставлен в мое ухо, выстрел треснула сухая половица. Выстрелили в пол! Удар палкой по шейному позвонку, падаю… Надо мной кто-то стоит большой и тяжелый, от него пахнет колбасой и хлебом. Меня тошнит, а рвать нечем. Слышу: «Сейчас вылижешь языком то, что от тебя на полу».

Ночью не засыпал от боли, а терял сознание. То мне казалось, что я стою на школьной линейке и учительница Любовь Ивановна Лашкевич говорит: «Осенью придете в пятый класс, а сейчас до свидания, ребята. За лето подрастете все. Вася Бойкачев сейчас самый маленький, а станет самым большим». Любовь Ивановна улыбается…

То вдруг мы с отцом в поле, ищем наших убитых солдат. Отец где-то впереди, а я нахожу под сосной человека… Не человека, а то, что осталось от него… И он просит: «У меня нет ног, у меня нет руку, пристрели, сынок». В ужасе я бегу и зову отца…

Старик, который лежит рядом со мной, будит меня:

— Не кричи, сынок.

— А что я кричу?..

— Ты просишь, чтобы я тебя пристрелил…

## «А на мне даже косыночки нет…»

***Надя Горбачева — 7 лет.***

***Сейчас — работник телевидения.***

***Живет в Минске.***

Как уходил отец на фронт, я не помню. Видно, нас, детей, пощадили, не сказали. Он отвел утром нас с сестрой в детский сад. Все было, как всегда. Вечером мы, конечно, заметили, что отца нет, но мама успокоила, что он скоро вернется.

Помню дорогу… Ехали машины, в кузовах мычали коровы, пищали свиньи, в одной — мальчик держал в руках кактус и от толчков бегал с ним от одного борта к другому. Нам с сестрой было смешно, как он бегает. Дети, мы видели поля, мы видели бабочек. Нам нравилось ехать. Мама оберегала нас, мы сидели под мамиными «крыльями». Где-то в сознании было, что случилась беда, все уходят от нее, но с нами мама, и там, куда мы едем, все будет хорошо. Она отделила нас от бомб, от взрослых напуганных разговоров, от всего плохого. Если бы мы могли прочесть мамино лицо, то прочли бы на нем все. Но я его не помню, я помню большую стрекозу, которая села на плечо сестренке, я закричал: «Самолет!», — а взрослые почему-то соскочили с повозок и стали задирать головы вверх.

Приехали к дедушке в деревню Городец Сенненского района. Семья у него была большая, мы поселились в летней кухне. Нас стали звать «дачниками», так это за нами до конца войны и осталось. Я не помню, чтобы мы играли, во всяком случае, летних игр так у нас точно не было. Подрастал маленький брат, он был на наших руках, потому что мама пахала, копала, сажала, шила. Останемся одни: надо вымыть ложки, тарелки, полы, дотопить печку, насобирать веток на завтра. запастись водой, ведро мы не можем тянуть, носили по полведра. С вечера мама назначала: ты — старшая по кухне, а ты — старшая по брату. И каждый уже за свое отвечал.

Как бы ни было голодно, но у нас появилась кошка, за ней — собака. Это были члены семьи, мы все делили с ними поровну. В другой раз не хватает на кошку и собаку, так тайком каждый старается припрятать им кусочек. И когда кошка погибла от осколка, это была такая потеря, что, казалось, перенести ее невозможно. Плакали два дня. Хоронили с выносом, со слезами. Поставили крестик, посадили цветы, поливали.

Я и сейчас, как вспомню наши слезы, как мы переплакали, не могу завести кошку. Дочь так просила купить собачку, тоже не разрешила.

А потом что-то с нами произошло, мы перестали бояться смерти.

Наехали большие немецкие машины, выгнали всех из хат. Выстроили и считают: «Айн, цвай, драй…» Мама девятая, а десятого на расстрел. Она держала на руках братика, так он у нее из рук и упал.

Я очень помню наших, много помню через запахи или вместе с запахами. Когда вижу сейчас в кино фашистов, слышу солдатский запах…

Страх собственной смерти, он тоже был. Сестра в тот день дежурила по брату, а я полола на огороде. В картошке нагнусь, меня не видно, знаете, в детстве все кажется большим и высоким. Когда заметила самолет, он уже кружился надо мной, я увидела совершенно отчетливо летчика. Коротенькая автоматная очень — бах-бах! Самолет второй раз разворачивается… Он не стремился меня убить, он развлекался. Уже тогда детским умом я это поняла. А на мне даже косыночки нет, нечем прикрыться.

И что странно? Запомнилось, что проходила та минута, когда думалось: умрешь от страха, и наступала нейтральная полоса — одну беду пронесло, а о другой пока люди не знают — и было много смеха. Начинали поддевать, подшучивать друг над другом: кто и где прятался, как бежали, как пуля летела, да не попала… Даже мы, дети. соберемся и посмеиваемся друг над другом: кто испугался, а кто нет. А рядом, в соседнем дворе, лежал убитый…

У нас было две курицы. Когда им говорили: «Немцы — тихо!», — они молчали. Они сидели тихо-тихо вместе с нами под кроватью, ни одна не кокнет. Сколько я потом ни видела в цирке ручных кур, они меня не удивляли. А наши ко всему исправно неслись под кроватью в ящике — два яйца в день. Мы чувствовали себя такими богатыми!

Все-таки какую-то елку мы на Новый год ставили. Конечно, это мама помнила, что у нас детство. Из книжек вырезали яркие картинки, делали шарики из бумаги: один бочок белый, другой — черный, гирлянды из старых ниток. Но детское у нас не отделялось от маминого, взрослого, потому, наверное, что взрослые старались не оставлять нас одних…

## «Играть на улице не с кем…»

***Валя Никитенко — 4 года.***

***Сейчас — инженер.***

***Живет в Минске.***

В детской памяти запечатлевается все, как на фотографии. Отдельными снимками.

…Мама просит:

— Бежим-бежим… Топаем-топаем… — у нее руки заняты. А я капризничаю:

— У меня ножки болят.

Трехлетний братик толкает меня:

— Безым (буквы «ж» он не выговаривал), а то немцы догонят. — И бежим рядом молча.

От бомб я прячу голову и куклу, а кукла уже без руки и без ног. Плачу, чтобы мама ее перевязала.

…Кто-то принес маме листовку. Они с бабушкой говорят, что дядя в партизанах. ПА по соседству у нас жила семья полицая. И, знаете, как дети, выйдут, и каждый хвастается своим папой. Их мальчик говорит:

— У моего папы автомат…

Я тоже хочу похвастаться:

— А нам дядя принес листовку…

Это услышала мать полицая, она пришла к маме предупредить, что смертельная беда нашей семье, если ее сын услышит, как я рассказываю детям про листовку.

Мама позвала меня с улицы и просит:

— Доченька, не будешь больше рассказывать?

— Буду!

— Нельзя рассказывать.

— Ему можно, а мне нет.

Тогда она достала прутик из веника, а стегать меня ей жалко. Поставила в угол:

— Не будешь? А то маму убьют…

— Прилети на самолете наш дядя из леса и спасет тебя.

Та и уснула в углу.

…Горит наш дом, меня выносят на руках сонную. Пальто и ботиночки сгорели. Я хожу в мамином пиджаке, он до самой земли.

Живем в земляничке. Вылезаю из нее и слышу запах пшенной каши, заправленной салом. Мне и теперь вкуснее еды нет, чем пшенная каша, заправленная салом. Кто-то кричит: «Наши пришли». На огороде у тети Василисы, так говорит мама, а дети тетю Василису зовут «бабой Васей», стоит походная солдатская кухня. В котелках нам раздают кашу, помню точно, что в котелках. Как мы ели, не знаю, ложек не было.

…Мне дают кружку молока, а я уже забыла о нем за войну. Молоко налили в чашку, она у меня упала и разбилась. И я плачу, все думают, что я плачу потому, что чашку разбила, а я плакала, что разлила молоко. Оно такое вкусное, и мне его больше не дадут.

…Дети заразились дифтеритом. Умирают. Я убежала из-под замка хоронить соседских мальчиков-близнецов, с которыми дружила. Стою у гробиков в мамином пиджаке и с босыми ногами. Мама вытаскивает меня оттуда за руку. Ждет с бабушкой, что и я заразилась дифтеритом. Нет, я только кашляю. В деревне после дифтерита не осталось детей, играть на улице не с кем…

## «Ройте здесь…»

***Володя Барсук — 14 лет.***

***Сейчас — председатель Белорусского республиканского совета спортивного общества «Спартак».***

***Живет в Минске.***

…Когда брат не вернулся с задания, мама долго не хотела верить, что он погиб. В отряд передали, что группа партизан, которую окружили немцы, подорвала себя противотанковой миной, чтобы не попасть живыми в плен. У мамы было подозрение, что там оказался и наш Александр. Его с этой группой не посылали, но он мог ее встретить. Она пришла к командиру отряда и говорит:

— Я чувствую, что там и мой сын лежит. Разрешите мне туда съездить.

Ей дали несколько бойцов, и мы поехали. И вот что такое материнское сердце! Местные жители уже похоронили погибших, бойцы начинают рыть в одном углу, а мама показывает в другое место: «Рой те здесь…» Начинают рыть там и находят брата, его уже было не узнать. он весь почернел, мама узнала его по шву от аппендицита и по расческе в кармане.

Я всегда трогательно вспоминаю свою маму.

Помню, как закурил первый раз. Она увидела, позвала отца:

— Ты посмотри, что Вовка наш делает!

— А что делает?

— Курит.

Отец подошел ко мне, посмотрел:

— Пусть курит, после войны разберемся.

Когда вернулись из партизан, моих сверстников еще не призывали в армию, а я уже отвоевался. В техникуме физкультуры, куда поступил учиться, меня называли все «дядей Володей», хотя я не был старше их по возрасту.

После войны все время вспоминалось, как мы жили до войны. Жили все вместе, несколько семей родственников в одном большом доме. Жили весело и дружно. Тетя Лена в день зарплаты покупала очень много пирожных и сыров, собирала всех детей и всех угощала. Погибла она, ее муж и сын. Погибли все мои дядья…

Запомнил, как мы с мамой шли по улице, на несла картошку, ей дали немного на заводе, где она работала. Из строительных развалин подходит к нам пленный немец:

— Муттэр, битте, картофель…

Мама говорит:

— Я тебе не дам. Может, ты убил моего сына? Ты — убийца.

Немец опешил и молчит. Мама отошла, потом вернулась, достала несколько картофелин и дает ему:

— На, ешь…

## «Встанешь на ящик…»

***Люба Филимонова — 11 лет.***

***Сейчас — агроном.***

***Живет в Бердянске.***

Колхоз — это были мы и наши матери. Мужчин в колхозе не было, мужчины на фронте… Машин не было, возили все на лошадях. Женщины подводы нагрузят, а возить нам, ребятишкам. Везем, да еще стараемся обогнать друг дружку, чтоб последним не приехать, а то засмеют. А разве от нас все зависело? От лошадей тоже. Вот и старался каждый вскочить пораньше, хоть темно еще и спать смерть как хочется, прибежать в конюшню первым, коня лучшего захватить, Русланку, например, или Форсуна. Из-за Русланки мальчишки дрались…

Запрягать поначалу мама помогала, потом сама научилась. Главное — хомут надеть. Встанешь на ящик, на бочку какую-нибудь — и все в порядке. Матери пахали, а мы бороновали. И до сева, и после сева. И сено возим, и зерно. Когда со взрослыми, а когда и сами. Для нас, детей, даже мешки специальные сшили — килограммов на тридцать-сорок зерна. Чтоб мы могли с телеги взять такой мешок на плечи и понести. Несешь, а тебя из стороны в сторону качает. Не раз мешок перетянет, и летишь вместе с ним. А все равно весь урожай переносим…

## «…еще лопатками похлопали, чтобы было аккуратно»

***Леонид Шакинко — 12 лет.***

***Сейчас — художник.***

***Живет в Минске.***

…Согнали нас к бригадирской хате, всю деревню. Теплый день, трава теплая. Кто стоял, а кто сидел. Женщины в белых платках, дети босиком. На этом месте, куда нас согнали, всегда собирались в праздники, на зажинки, дожинки. И тоже — кто сидел, а кто стоял, митинги проводили, пели.

Все были как каменные, никто не плакал. Даже тогда это меня поразило. Говорят, что обычно люди плачут, кричат, предчувствуя смерть, ни одной слезинки не помню. Хотя мы уже знали, что каратели расстреливают, сжигают целые деревни. Сейчас, когда я об этом вспоминаю, начинаю думать: может, я оглох в те минуты и ничего не слышал? Почему не было слез?

Дети сбились в отдельную кучу, хотя никто нас не отделял о взрослых. Почему-то матери наши не держали нас воле себя. Почему? До сих пор не знаю. Обычно мы, мальчишки, мало с девчонками дружбу водили, принято было: девчонка — значит, надо отлупить, за косички потаскать. Тут все прижались друг к другу. Понимаете, даже собаки дворовые не лаяли.

В нескольких шагах от нас поставили пулемет, возле него селил два эсэсовских солдата, о чем-то стали спокойно разговаривать, один раз даже рассмеялись.

Подошел офицер, молодой. Почему-то мне запомнились именно такие детали.

Переводчик перевел:

— Господин офицер приказывает назвать имена тех, кто держит связь с партизанами. Будете молчать, расстреляем вех.

Люди как стояли или сидели, так и продолжали стоять и сидеть.

— Три минуты, и вас расстреляют, — переводчик сказал и выбросил вверх три пальца.

Теперь я смотрел все время на его руку.

— Две минуты, и вас расстреляют…

Жались теснее друг к другу, кто-то что-то кому-то говорил, но не словами, а движением руки, глазами. Разговаривали телом. Я, например, ясно себе представлял, что нас расстреляют и нас больше не будет.

— Последняя минута, и вам капут…

Я видел, как солдат снял затвор, зарядил ленту и взял пулемет в руки. До кого было два метра, до кого — десять…

Из тех, что стояли впереди, отсчитали четырнадцать человек. Дали им лопаты и сказали копать яму. А нас подогнали ближе смотреть, как они копают. Копали быстро-быстро. Я помню, что яма была большая, глубокая, на полный человеческий рост. Такие ямы копают под дом, под фундамент.

Расстреливали по три человека. Поставят у края ямы — и в упор. Остальные смотрят… Не помню, чтобы с детьми родители прощались или дети с родителями.

Расстреляли четырнадцать человек и стали закапывать яму А мы опять стояли и смотрели Как забрасывают землей, как утаптывают землю сапогами. А сверху еще лопатками похлопали, чтобы было аккуратно. Понимаете, даже углы срезали, почистили. Один пожилой немец кряхтел и вытирал платком пот со лба, будто в поле работал. Понимаете? Сколько живу, забыть не могу…

Через двадцать дней разрешили убитых раскопать и похоронить. Вот тогда заголосили бабы, заголосила вся деревня…

## «Куплю себе платье с бантиком…»

***Поля Пашкевич — 4 года.***

***Сейчас — портниха.***

***Живет в райцентре Белыничи Могилевской области.***

В четыре года война мне представлялась так: большой черный лес, и там какая-то война. Что-то такое страшное. Почему в лесу? Потому что в сказках самое страшное всегда происходило в лесу.

Через Белыничи шли войска, тогда я не понимала, что это отступление. Помню, что в доме было много военных людей, они брали меня на руки. Утром, когда они уходили, в доме на подоконниках и везде оставалось много патронов. И мы с ними играли.

А это уже тетя мне рассказывала. Когда немцы вошли в наш город, у них был список коммунистов. И в этом списке были наш отец и учитель, который жил напротив. У них был сын, я с ним дружила, мы называли его Игрушка. А его, наверное, звали Игорь, так я сейчас думаю. Потому что в памяти у меня осталось то ли имя, то ли дразнилка — игрушка.

Маму расстреляли на улице. Это я сама помню. Когда она упала, раскрылось пальто, оно стало красным, и снег вокруг мамы стал красным.

А потом нас долго держали в каком-то сарае. Было очень страшно, мы плакали, кричали. У меня еще были сестра и брат — два с половиной годика и год, а мне четыре года, я — самая старшая. Маленькие, мы уже знали, когда стреляют снаряды, что это не самолет бомбит, а именно артиллерия бьет. По звуку узнавали — наш или не наш самолет летит, далеко или близко от нас упадет бомба. Было страшно, очень страшно, а голову спрячешь, и уже не страшно, главное — не видеть.

Дальше ехали куда-то на санях, все трое, в какой-то деревне нас разобрали по хатам чужие люди — кто кого. Братика долго никто не хотел брать, а он плакал: «А меня?» Мы с сестрой плакали, что нас разделяют, что теперь не будем вместе.

Однажды меня чуть не съела немецкая овчарка. Я сидела на окошке. по улице ехали немцы, с ними две большие овчарки. Одна из них бросилась в окно и разбила стекло. Меня успели схватить с подоконника, но я так испугалась, что с того дня стала заикаться. И даже сейчас боюсь больших собак.

…После войны отдали нас в детский дом, а он находился недалеко от шоссе. Пленных было много, они шли по этому шоссе сутками. Мы бросали в них землей, камнями. Конвойные гоняли нас и ругали. А мы не понимали, почему они нас ругают.

В детдоме все ждали родителей, что они придут и заберут домой. И те, кто знал, что их родители погибли, все равно ждали. Появлялся незнакомый мужчина или незнакомая женщина, все бежали к ним и кричали:

— Мой папа.

— Нет, это мой папа.

— За мной пришли.

— Нет, это за мной пришли.

Очень завидовали тем, кого родители находили. А они не давали подойти к своим родителям: «Не трогай, это моя мама» или: «Не трогай, это мой папа». Они не отпускали их от себя ни на минуту, боялись, чтобы кто-нибудь не отнял.

Учились мы в школе вместе — детдомовцы и обыкновенные дети. И было очень больно, тогда все плохо жили, но ребенок придет из дома, у него в холщовой суме или кусочек хлеба, или картошина, а у нас ничего. Все мы были одинаково одеты, пока маленькие, то ничего, а когда подросли, переживали. В двенадцать, тринадцать лет хотелось красивое платьице, туфельки, а мы все носили ботинки. И мальчики, и девочки. Хотелось яркую ленточку в косы, цветные карандаши хотелось. И портфель хотелось. Хотелось конфет, а конфеты у нас были только на Новый год, леденцы. Дали нам вдоволь черного хлеба, мы сосали его, как конфеты, таким он нам казался вкусным.

Но больше всего мы хотели ласки. Была у нас одна воспитательница, все ее очень любили. Она входила в комнату, и каждый хотел ее потрогать, каждый говорил: «Вот такая моя мама..»

Мечтала: вырасту, стану работать и куплю себе много платьев — красное, зеленое, в горошек, с бантиком. А с бантиком — обязательно. В седьмом классе спросили: на кого хочешь учиться, а я давно решила — портниху. Шью платья…

## «Как умер, если сегодня не стреляли?..»

***Эдуард Ворошилов — 11 лет.***

***Сейчас — работник телевидения.***

***Живет в Минске.***

…В деревне, где стоял наш отряд, умер старик, как раз в его хате я жил. Когда мы его хоронили, зашел мальчишка лет пяти и спрашивает:

— Почему дедушка лежит на столе?

Ему ответили:

— Дедушка умер…

Мальчишка страшно удивился:

— Как умер, если сегодня не стреляли?

Мальчику было пять лет, но уже два года он слышал. что умирают только тогда, когда стреляют.

Странные какие-то воспоминания: своей смерти боишься, а смерть рядом не пугала. Такое восприятие смерти складывалось постоянно. Я начал свой рассказ сразу с партизанского отряда, пропустил, как мы с мамой за неделю до войны приехали в Минск, как она отвезла меня в пионерский лагерь под Минском…

В лагере мы пели песни: «Если завтра война…», «Три танкиста», «По долинам и по взгорьям». Последнюю очень любил мой отец. Тогда только появился фильм «Дети капитана Гранта», и мне нравилась песенка из этого фильма: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер…» С этой песенкой я всегда выскакивал на зарядку.

В тот день зарядки не было, над нами ревели самолеты, я подняло глаза и увидел, как от самолета отделяются черные точки, мы еще не знали. что это бомбы. Рядом с пионерским лагерем была железная дорога и я пошел по ней в Минск. Расчет был прост: недалеко от мединститута, где сейчас работает мама, железнодорожный вокзал, если я пойду по рельсам, то приду к маме. От железнодорожного вокзала мне будет легче ориентироваться.

Нашел мальчишку, с которым мы пошли вместе, тот был совсем крохотный и очень плакал, шел медленно, а я ходить любил, с отцом мы обходили все окрестности родного Ленинграда. Но до Минского вокзала мы все-таки добрались, дошли до Западного моста, была очередная бомбежка, и я его потерял.

В мединституте мамы не было, недалеко жил профессор Голуб, с которым мама теперь работала, я нашел его квартиру, она была пустая. Через много лет я узнал, что произошло: мама, как только стали бомбить город, села на попутную машину и поехала за мной по шоссе в Ратомку. Она приехала туда и увидела разбитый лагерь…

Из города все куда-то уходили. Я решил, что до Ленинграда дальше, чем до Москвы в Ленинграде у меня папа, но он на фронте, а в Москве у меня тетушки, они-то никуда не уедут. В дороге присоединился к одной женщине с девочкой. Получилось так как, что она поняла, что я один. что у меня ничего нет и я голоден. Она меня позвала: «Идем к нам, вместе поедим».

Помню, что тогда впервые в жизни ел лук с салом. Сначала я морщился, потом все-таки съел. Если налет или бомбежка, я всегда смотрел: где эта женщина со своей девочкой? Вечером выбрали канаву и расположились отдохнуть. Бомбили нас беспрерывно. Женщина оглянулась и вскрикнула, я тоже приподнялся и посмотрел в ту сторону, в которую только что смотрела она, увидел, как летит на бреющем полете самолет и рядом с мотором у него на плоскостях поблескивают огоньки. И по направлению этих огоньков рядом с канавой поднимаются фонтанчики пыли. Совершенно инстинктивно я рухнул на дно канавы, потому что обстреливали нас уже не первый раз и я знал, что поглубже в землю надо зарыться, закопаться.

Пулеметная очередь простучала над головой, и самолет ушел дальше. Я поднимаюсь и вижу: лежит эта женщина на скате канавы, а вместо лица у нее кровавое месиво. Вот здесь я испугался, выскочил из канавы и бросился бежать. С тех пор, и даже сейчас, меня мучает вопрос: а что с той девочкой? Больше я ее не встретил…

Когда бомбежка прекратилась, пошел в деревню. На улице под деревьями там увидел немецких раненых. Жителей деревни выгоняли из домов, заставляли носить воду, немецкие санитары грели ее на костре в больших ведрах. Утром немцы положили раненых на машины и в каждую машину посадили одного-двух мальчиков. Нам дали фляги с водой и показали, что мы должны помогать: кому смочить платок и положить на голову, кому смочить губы. Раненый просит: «Вассер… Вассер…» Прикладываешь флягу к его губам, и тебя бьет дрожь. Не определю и сейчас чувство, которое испытывал тогда.

Жалость? Нет. Брезгливость? Нет. Ненависть? Тоже нет. Тут было все вместе. Ненависть в человеке тоже формируется, она не изначальна. Мы ведь воспитывались в добре, в гуманном отношении ко всем людям. Когда первый немец ударил меня, я не боль почувствовал, испытал другое. Как это он меня ударил, по какому праву он меня ударил? Это было потрясение. Мы не понимали, как ни за что можно ударить человека.

Я уже тогда подружился с Кимом. Познакомились мы с ним на улице. На мой вопрос:

— С кем ты живешь?

Он ответил:

— Ни с кем.

Я узнал. что он тоже потерялся, и предложил:

— Давай жить вместе.

— Давай, — обрадовался он, потому что жить ему было негде.

А я жил в брошенной квартире профессора Голуба.

Как-то мы с Кимом увидели, что по улице шел парень постарше нас и нес подставку для чистки обуви. Прослушали его консультацию: какой нужен ящик, как делать гуталин. Для гуталина нужно было достать сажи, а ее в городе было полно, хоть отбавляй, и смешать с каким-нибудь маслом. Одним словом, сделали какую-то вонючую смесь, но она была черного цвета. И если ее аккуратно размазать, то она даже блестела.

Однажды подошел ко мне немец, поставил ногу на ящик, сапоги были грязные, причем грязь старая, засохшая. Поскольку мы уже сталкивались с такой обувью, то у меня был специальный скребок, чтобы сначала соскрести грязь, а потом уже нанести крем. Я взял скребок, провел им только два раза, и ему это не понравилось. Он ударил ногой по ящику, а меня по лицу…

Меня вообще никогда в жизни не били, мальчишеские драки не в счет, это выяснение других качеств, и этого в ленинградских школах было сколько хотите. Но никто из взрослых меня до этого ни разу не ударил.

Ким увидел мое лицо и закричал:

— Не смей так на него смотреть! Не смей ничего делать! Он убьет тебя…

Тогда же мы впервые столкнулись с тем, что на улицах появились люди с желтыми нашивками на пальто, на пиджаках Ким еврей, но он постригся наголо, и мы решили выдавать его за татарина. Когда волосы стали отрастать, вьющиеся черные волосы, кто мог поверить, что он татарин. Я переживал за друга, ночью проснусь, увижу его кудрявую голову и не могу заснуть: что сделать, чтобы Кима не забрали в гетто?

Мы нашли машинку, и я постриг Кима. Уже начались заморозки, чистить обувь зимой бессмысленно. Мы придумали вот что. Немецкое командование организовало в городе гостиницу для приезжающих офицеров. Немцы приезжали с большими рюкзаками, чемоданами, а до гостиницы было не близко. Достали большие сани и караулили на вокзале поезд. Поезд придет, нагрузим вещи двух-трех человек на эти сани и везем на себе через весь город. За это нам давали или хлеб, или сигареты, а за сигареты на базаре можно было выменять все, любую еду.

А тогда, когда забрали Кима, поезд пришел поздно ночью, с большим опозданием. Мы очень промерзли, но с вокзала уйти не могли, уже действовал комендантский час. Из самого здания нас выгнали, ждали на улице. Наконец прибыл поезд, мы загрузили сани и отправились в путь. Тянем, ремни режут, а они нас подгоняют: «Шнель! Шнель!» Быстро идти мы не могли, ни стали нас бить.

Внесли вещи в гостиницу, ждем, когда с нами рассчитаются. Один приказал: «Убирайтесь!» — и толкнул Кима, у Кима слетела с головы шапка. Тогда они заорали: «Юда!»

Через несколько дней я узнал, что Ким в гетто. Группу евреев выводили на уборку города, я познакомился с одной женщиной и попросил ее передать Киму, где буду его ждать. Несколько раз я видел его через проволоку, приносил хлеб, картошку, морковку. Постовой повернется спиной, идет до угла, тогда я бросаю картофелину. Ким пройдет, поднимет.

Жил я в нескольких километрах от гетто, но по ночам там слышались такие крики, что я просыпался: жив ли Ким? После очередного погрома пришел на условленное место, мне показали знаком: «Кима нет».

Я был несчастен, но думал. что хорошо, что не видел его смерть. А смерть я видел каждый день в разных проявлениях. Одним утром меня разбудил мальчишка с нижнего этажа и сказал: «Пойдем со мной на улицу, там лежат убитые. Поищем моего отца». Мы с ним вышли, комендантский час уже кончился, но прохожих почти не было. Улицу покрывал легкий снег, припорошенные этим снегом, через пятнадцать-двадцать метров лежали расстрелянные наши военнопленные. Их гнали через город ночью и тех, кто отставал, расстреливали в затылок. Все они лежали лицом вниз.

Мальчишка не мог дотронуться до убитых, он боялся, что где-то здесь его отец. И вот тогда я себя поймал на мысли, на чувстве, что у меня нет страха перед смертью. Я их переворачивал, а он смотрел каждому в лицо. Так мы прошли всю улицу…

Я видел, как вешали людей. Это самое страшное. Нас всех согнали и заставили смотреть. Подъехала машина, машина открылась, в ней стояло несколько человек. На груди одного мужчины была прикреплена фанера с надписью: «Мы стреляли в немецких солдат». Когда на них надели веревки, помню, толстые такие — одна часть белая, вторая черная, мужчина этот что-то кричал, но я был далеко. Веревки набросили, стало ясно, что сейчас произойдет, и вдруг одна женщина рядом со мной закричала: «Батюшки, вешают!» Поднялся страшный крик. Над нашими головами раздалась автоматная очередь. И сразу — тишина. Машина отъехала… Слез не было. Единственное, что помню: много дней я не мог ничего есть.

У меня с тех пор никогда нет слез, нет их даже тогда, когда, может быть, и надо. Я не умею плакать. За всю войну я плакал один раз. Это когда погибла наша партизанская медсестра Наташа. Она любила розы, и я любил розы, таскал ей летом букеты шиповника.

Как-то она спросила меня:

— Сколько классов ты окончил до войны?

— Четыре…

— Кончится война, пойдешь в суворовское училище?

А до войны мне нравилась отцовская военная форма, мне тоже хотелось носить оружие. Но почему-то я ей ответил, что нет, военным не буду.

Мертвая, она лежала на сосновых ветках возле палатки, а я сидел над ней и плакал. Первый раз плакал, видя убитого человека.

Когда я встретился с мамой, она только смотрела на меня, даже не гладила и повторяла:

— Ты? Неужели ты?..

## «Потому что мы — девочки, а он — мальчик…»

***Римма Познякова (Каминская) — 6 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Минске.***

Даже слова этого не знала «война». В детском саду говорят: «За тобой приехал папа. Война!» А что это такое — война? Как это меня убьют? Как это папу убьют? Было еще оно незнакомое слово — «беженцы». Мама повесила нам на шею мешочки с нашими метриками и записочки с адресом. Если ее убьют, то чтобы знали, кто мы.

В беженцах не стало папы, а мы вернулись. Мама сказала, что папу забрали в концлагерь, поедем к папе. А что такое концлагерь? Собрали еды, еда какая? Печеные яблоки. Дом наш сгорел, сад сгорел, на яблонях висели печеные яблоки. Мы их собрали и ели.

Концлагерь находился в Дроздах, около Комсомольского озера. Сейчас это уже не Минск, а тогда была деревня. Помню черную колючую проволоку, люди тоже все черные, все на одно лицо. Отца мы не узнали, он нас узнал. Он хотел погладить меня, а я почему-то боялась подходить к проволоке, тянула маму домой.

Когда и как отец вернулся домой, не помню. Знаю, что работал он на мельнице и мама нас посылала к нему с обедом — меня и сестричку младшую, Тому. Томочка была крохотуля, а я побольше, уже лифчик маленький носила, до войны были такие детские лифчики. Мама даст нам узелок с едой, а в лифчик положит мне листовки. Листовки были маленькие, на одном листочке из школьной тетради, написанные от руки. Мама ведет нас до ворот, плачет и учит: «Ни к кому не подходите, только к отцу».. Потом стоит, ждет нас обратно, пока не увидит, что живые возвращаемся.

Страха не было. Раз мама сказала, что надо идти, мы идем. Мама сказала — это главное. Страх был не послушаться маму, не сделать то, что она просила. Мама была у нас любимая. Мы даже не представляли, как это можно ее не послушаться.

Холодно, заберемся все на печь, у нас был большой тулуп, мы все — под тулуп. Чтобы печь вытопить, бегали на станцию воровать уголь. На коленках ползешь, а тот вдруг постовой заметит, ползешь и локтями себе помогаешь. Ведро угля принесем, а сами, как трубочисты: и коленки, и локти, и нос, и лоб черные.

Ночью все ложились вместе, никто не хотел спать один. Было нас четверо: я, две мои сестрички и четырехлетний Борис, которого мама усыновила. Это потом мы узнали, что Борис — сын подпольщицы Лели Ревинской, а тогда мама нам сказала, что есть один маленький мальчик, он часто остается дома один и одному ему страшно, кушать нечего. Она понимала, что трое своих детей, а четвертый чужой и надо сделать так, чтобы они привыкли друг к другу. Мама сделала умно, она не привела Бориса, а послала нас за ним: «Пойдите и приведите этого мальчика и будете с ним дружить». Мы пошли и привели.

У Бориса было много книг с красивыми рисунками, все эти книги он взял с собой, мы помогали ему нести. Сядем на печке и он нам сказки рассказывает. И так он нам понравился, что был роднее родного, может, потому что сказок много знал. Мы всем говорили: «Вы его только не обижайте».

Мы все беленькие, а Борис черный. У его мамы была толстая черная коса, и она, когда приходила, подарила мне зеркальце. Зеркальце я спрятала и решила, что буду по утрам в него смотреть и у меня тоже будет такая коса.

Бегаем по двору, дети громко кричат:

— А Борис чей?

— Борис наш.

— А почему вы все беленькие, а он черный?

— Потому что мы — девочки, а он — мальчик, — это мама так научила нас отвечать.

Борис на самом деле был наш, потому что маму его убили и папу убили. Откуда-то мы это уже знали. Мама наша боялась, чтобы его не опознали и не забрали. Пойдем куда-нибудь, мы все зовем нашу маму мамой, а Борис — тетей. Она его просит:

— Скажи — мама, — кусочек хлеба ему дает.

Он хлеб возьмет, отойдет:

— Тетя, спасибо.

Долго помнил свою маму…

## «Ты мне не брат, если играешь с немецкими мальчишками…»

***Вася Сигалев-Князев — 6 лет.***

***Сейчас — тренер.***

***Живет в Минске.***

Это был ранний рассвет. Начали стрелять, отец вскочил с постели, подбежал к двери, открыл и вскрикнул. Мы думали, что он испугался, а он упал, в него попала разрывная пуля.

Мама собрала какие-то тряпки, свет не зажигала, потому что стрелять продолжали. Отец стонал, мучился, переворачивался, было темно, но мы его видели.

— Ложитесь на пол, — сказала мама.

И вдруг заголосила навзрыд. Мы бросились с криком к ней, я поскользнулся в отцовской крови и упал. Почувствовал запах крови и какой-то еще неприятный запах: отцу разорвало кишечник…

Помню большой длинный гроб, а отец был маленький. «Зачем ему такой большой гроб?» — думал я. Потом решил, что это для того, чтобы не тесно было лежать, у отца тяжелая рана и ему не так будет больно. Так объяснил соседскому мальчику.

Через некоторое время тоже рано утром пришли немцы и забрали нас с мамой. Поставили нас на площади перед заводом, а на этом заводе работал до войны наш отец (это в поселке Смоловка Витебской области). Стояли мы и еще две партизанские семьи, детей было больше, чем взрослых. А у мамы, все знали, большая родня: пятеро братьев и пятеро сестер, и все они в партизанах.

Маму начали бить, весь поселок смотрел, как ее били, и мы. Какая-то женщина все нагибала мне голову к земле: «Не смотри. Тебе нельзя смотреть». А я выворачивался из ее рук.

За поселком был пригорок лесистый, детей оставили, а взрослых повели туда. Я цеплялся за маму, она отталкивала меня и кричала: «Прощайте, дети!» Помню, как от ветра поднялось мамино платье, когда она летела в траншею.

…Пришли наши, я увидел офицеров в погонах. Мне это очень понравилось, я взял и сделал себе погоны из березовой коры, углем нарисовал лычки. Прикрепил на свой деревенский армяк, который мне пошила тетя, в лаптях — и так пришел и доложил капитану Иванкину (от тети узнал его фамилию), что такой-то, Вася Сигалев, хочет бить немцев с вами вместе. Они сначала пошутили, посмеялись, потом спросили у тети, где мои родители. Когда узнали, что я сирота, за ночь солдаты сшили мне сапожки из плащ-палатки, укоротили шинель, подвернули шапку, подвернули наполовину погоны. Кто-то даже соорудил офицерскую портупею. Так я стал сыном двести третьего отдельного отряда разминирования. Зачислили меня на должность связного. Старался я очень, но ни писать, ни читать не умел. Когда еще была мама, мой дядя попросил меня: «Сходи к железнодорожному мосту и сосчитай, сколько там немцев». Как я сосчитаю? Насыпал он мне жменьку жита в карман, и я по одному зернышку перекладывал из правого кармана в левый. А дядя уже эти зернышки считал.

— Война войной, а читать и писать тебе надо учиться, — сказал парторг Шапошников.

Солдаты раздобыли бумагу, он сам сделал мне самодельную тетрадку и написал на ней таблицу умножения, написал алфавит. Я учил и отвечал ему. Принесет пустой ящик от снарядов, разлинует и говорит: «Пиши».

В Германии нас уже было трое мальчишек — Володя Почивадлов, Витя Баринов и я. Володе — четырнадцать лет, Вите — семь, мне к этому времени девять. Мы очень дружили, были как братья, потому что у нас никого больше не было.

Но когда я увидел, что Витя Баринов играет «в войну» с немецкими мальчишками и отдал одному свою пилотку со звездочкой, я закричал, что он мне больше не брат, схватил свой трофейный пистолет и приказал ему следовать в распоряжение части. И там сам посадил его на гауптвахту в какой-то чулан. Он был рядовой, а я младший сержант, то есть я вел себя как старший его по званию.

Кто-то сказал об этом капитану Иванкину. Тот позвал меня:

— Где рядовой Витя Баринов?

— Рядовой Баринов на гауптвахте, — доложил я.

Капитан долго мне объяснял, что дети все хорошие, они ни в чем не виноваты, что русские и немецкие дети теперь, когда кончается война, будут дружить.

Кончилась война, мне вручили три медали: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией». Наша часть вернулась в Житковичи, здесь мы разминировали поля. Случайно узнал, что мой старший брат жив и живет в Вилейке.

С направлением в суворовское училище сбежал в Вилейку. Нашел брата, скоро к нам приехала сестра. У нас уже была семья. С жильем мы устроились на каком-то чердаке. А с питанием было туго, пока я не надел форму, три медали и не пошел в горисполком.

Прихожу, на дверях табличка: «Председатель», я постучался. Зашел и доложил по всей форме:

— Младший сержант Сигалев пришел ходатайствовать себе гособеспечение.

Председатель улыбнулся и поднялся.

— А где живешь? — спросил.

Я сказал:

— На чердаке, — и дал адрес.

Вечером нам привези мешок капусты, через день — мешок карточки.

Однажды председатель встретил меня на улице и дал адрес:

— Вечером зайди, там тебя ждут.

Встретила меня там женщина, это была его жена, звали ее Нина Максимовна, а его Алексей Михайлович. Меня накормили, я умылся, из солдатского уже вырос, мне дали пару рубашек.

Стал я к ним приходить, сначала редко, затем чаще, потом каждый день. Военный патруль встретит и спрашивает:

— Пацан. чьи медали нацепил? Где твой отец?

— У меня нет отца…

Приходилось носить с собой удостоверение.

Когда Алексей Михайлович спросил:

— Хочешь быть нашим сыном?

Ответил:

— Хочу… Очень хочу…

Они меня усыновили, дали свою фамилию — Князев. Я стал ходить в школу, с медалями ходил. Сохранился даже снимок: я с медалями выпускаю. нашу пионерскую газету.

Около месяца я не мог называть «папа» и «мама». А Нина Максимовна сразу полюбила меня, всегда на мне все было чистое, выглаженное. Если что-то доставали сладкое, то это для меня. А я сладкого не любил, потому что никогда его не ел. До войны мы жили небогато, а в армии привык ко всему солдатскому. И был я неласковым мальчиком, потому что ласки особой никогда не видел, жил среди одних мужчин.

Ночью один раз проснулся и услышал, как Нина Максимовна плакала за перегородкой. Она, видно, плакала и раньше, но так. что я не видел. Она плакала и говорила, что он никогда не будет нам родным, потому что не сможет забыть своих родителей, забыть то, что был среди солдат, что в нем мало очень детского, он неласковый. Я подошел тихонько к ней и обнял за шею: «Не плачьте, мама». Она перестала плакать, я увидел ее искрящиеся глаза. Впервые я назвал ее «мама». Прошло время, и отца назвал папой, одно только осталось на всю жизнь, я говорил им «вы».

Они не делали из меня чистенького мальчика, и за это я им благодарен. У меня были четкие обязанности: убрать дом, вытряхнуть половики, наносить дров из сарая, вытопить трубку, придя из школы. Без них я не получил бы высшего образования. Это они внушили мне, что надо учиться, что после войны надо учиться хорошо.

Когда наша часть стояла в Житковичах, Володе Почивадлову, Вите Баринову и мне командир приказал учиться. Мы трое сели за одну парту, во второй класс У нас было при себе оружие, и мы никого не признавали. Не хотели подчиняться гражданским учителям: как он может нам приказывать, если он не в военной форме? Авторитетом для нас были только командиры. Входит учитель, весь класс встает, мы сидим.

— Почему вы сидите?

— А мы не будем вам отвечать. Мы подчиняемся только командиру.

На большой перемене мы строили всех учеников повзводно и занимались маршировкой, разучивали военные песни.

Директор школы пришел в часть и рассказал замполиту как мы себя ведем. нас посадили на гауптвахту и разжаловали. Вовка Почивадлов был старший сержантом — стал сержантом, я был сержантом — стал младшим сержантом, Витька Баринов был младшим сержантом — стал ефрейтором.

…Когда я приносил из школы «пятерку», кричал с порога:

— Мама, пятерка! — И мне так легко было говорит «мама».

## «Мы даже забыли это слово…»

***Аня Гуревич — 2 года.***

***Сейчас — радиоконструктор.***

***Живет в Минске.***

Сейчас так и не верится, что это со мной было. Как страшная сказка. то ли сама помню, то ли мама потом рассказывала, как мы идем по дороге. Идти нам тяжело: мама больная, мы с сестрой маленькие: сестре — три годика, мне — два. Как нас спасти?

Мама написала записочку: мою фамилию, мое имя, год рождения. положила мне в карманчик и сказала: «Иди». Она хотела, чтобы я с детдомом эвакуировалась, она думала, что сама погибнет. Я должна была пойти сама: если бы мама меня привела в детдом, то нас бы отправили обратно. Брали только тех, кто без родителей остался, а у меня мама есть. Вся судьба моя в том, что я не оглянулась, иначе бы никуда от мамы не отошла, я бы в слезы, как все дети, бросилась бы ей на шею, и меня никто не заставил бы остаться в чужом доме.

Мама сказала: «Пойдешь и откроешь вон ту дверь…» Я так и сделала. Но эвакуироваться этот детдом, видно, не успел.

Помню большой зал и свою кроватку возле стенки. И много-много таких кроваток. Мы сами их аккуратно убирали, очень тщательно. Подушка должна была лежать всегда на одном месте. Положишь не так, воспитательницы ругали, особенно когда приходили какие-то дяди в черных костюмах. Полицейские или немцы, не знаю, в памяти лишь черные костюмы. Чтобы нас били, не помню, а вот страх, что меня за что-то могут побить, был. Не могу вспомнить игр. Хотя не может быть, чтобы мы сидели на стульях смирненько весь день. Помню, что много двигались — убирали, мыли, а другого в памяти нет.

Нас никто никогда не ласкал, но о маме я не плакала. Я не понимала, что у кого-то есть мама, рядом со мной ни у кого не было мамы. Мы даже забыли это слово.

Кормили нас так: за весь день дадут миску затирки и кусочек хлеба. А я не любила затирку и отдавала свою порцию девочке, а она давала мне свой кусочек хлеба. У нас была такая дружба. Никто на это не обращал внимания, все было хорошо, пока не заметила наш обмен одна воспитательница. Меня поставили в угол на колени, и я долго стояла одна в пустом большом зале. До сего времени, когда слышу слово «затирка». мне сразу хочется плакать, появляется рвота. Когда стала взрослой, не могла понять: откуда, почему это слово вызывает такое отвращение? Я забыла о детдоме…

Мне было уже шестнадцать лет, нет, семнадцать лет, встретила свою воспитательницу из детдома. Сидит в автобусе женщина, я смотрю на нее, и меня тянет к ней магнитом, проехала свою остановку. Не знаю я этой женщины, не помню, а меня к ней тянет. Наконец не выдержала, расплакалась и злюсь на себя: ну чего я так? Смотрела на нее, как на картину, которую я когда-то видела, но забыла, и хочется мне еще раз на нее посмотреть. И что-то такое родное, может, похожа даже на маму. Ближе мамы, а кто — не знаю. И вот эта злость, и слезы как хлынули из меня. Я отвернулась, пошла вперед к выходу, стою и плачу.

Женщина все видела, подошла ко мне и говорит:

— Анечка, не плачь.

А у меня еще больше слез от этих ее слов.

Она утешает:

— Ну что, ты забыла меня?

Я со слезами отказываюсь:

— Да я вас не знаю.

— Ты посмотри на меня лучше!

— Честное слово, я вас не знаю, — и реву.

Вывела она меня из автобуса:

— Ну что ты плачешь? Посмотри на меня хорошенько, ты все вспомнишь. Я же Степанида Ивановна…

А я на своем стою:

— Я вас не знаю. Я вас никогда не встречала.

— Ты помнишь детский дом?

— Какой детский дом? Вы, наверное, меня с кем-то путаете.

— Нет, ты вспомни детский дом… Я твоя воспитательница.

— У меня папа погиб, а мама у меня есть. Какой детский дом?

Я даже забыла детский дом, потому что жила уже с мамой, дома. Она меня тихонько гладит по голове, а все равно ручьем слезы текут. И тогда она говорит:

— Вот тебе мой телефон, позвонишь, если что-нибудь захочешь узнать про себя, какой ты была в детстве. Приходи ко мне, здесь рядом. Я тебя хорошо помню, ты была такая маленькая и красивенькая.

Она пошла, а я с места сдвинуться не могу. Мне, конечно, надо было побежать за ней, поговорить, порасспросить, я не побежала, не догнала.

Почему я этого не сделала? Я была дикарка, просто дикарка, для меня люди — это что-то страшное, разговаривать ни с кем я не умела, одна бы сидела часами.

Мама меня нашла только в сорок шестом году, в восемь лет я ничего, кроме страха, не знала. Вместе с сестрой маму угнали в Германию, когда они вернулись, она обыскала все детские дома в Белоруссии, уже не надеялась меня найти. А я была рядом, в Минске, но, видно, потерялась записочка, которую мама мне дала. и меня записали на другую фамилию… Мама определила, что я ее дочь, по глазам, по высокому росту. Неделю она приходила и смотрела на меня: ее Анечка или не ее? Имя у меня осталось настоящее. Когда я видела маму, мной овладевали непонятные чувства. Нет, это не были воспоминания о чем-то знакомом, открывался какой-то новый мир — мама! Распахивалась таинственная дверь, откуда заходят люди, которых зовут «мама» и «папа», обычно нас а ту дверь не пускали, а тут меня ведут туда и все мне улыбаются.

Мама позвала с собой нашу довоенную соседку:

— Найди среди этой кучи детей мою Анечку.

Соседка сразу показала на меня:

— Вот твоя Анька! Не думай ничего другого, бери. Твои глаза, твое лицо…

Вечером ко мне подошла воспитательница:

— тебя завтра заберут, ты уедешь.

Мне было немного страшно.

Утром меня мыли, одевали, от всех я видела ласку. Наша ворчливая старая нянечка улыбалась мне. Я поняла, что это в последний день, что они со мной прощаются. Мне даже вдруг не захотелось куда-нибудь уходить. Переодели меня во все мамино, в мамины ботиночки, и этим я уже отделила. от своих детдомовских подружек, стояла среди них, как чужая, и ни рассматривали меня, как будто первый раз видели.

Самым большим впечатлением дома стало радио. Приемников ее не было, а в углу висела черная тарелка, и оттуда доносился звук. Каждую минуту я смотрела туда, ем — туда смотрю, спать ложусь — туда смотрю. Меня больше ничего не волновало: откуда там люди, как они туда вместились? И никто мне не смог объяснить, я ведь была необщительная. В детдоме я дружила с Томочкой, мне она нравилась, потому что она часто улыбалась, но я никому не нравилась, потому что я не улыбалась. Я стала улыбаться в пятнадцать-шестнадцать лет. В школе я прятала улыбку, чтобы не видели, что я улыбаюсь, мне было стыдно. Не умела общаться даже с девочками, они на переменке разговаривают о чем угодно, а я ничего не могу сказать. Сижу и молчу.

Мама забрала меня из детдома, и через пару дней в воскресенье мы пошли с ней на рынок. Там я увидела милиционера и забилась в истерике, закричала:

— Мама, немцы! — бросилась бежать.

Мама — за мной, люди обступили меня, а я вся трясусь:

— Немцы!

После этого два дня не выходила на улицу. Мама мне объяснила, что это милиционер, что он охраняет улицу, порядок на улице, а меня не убедить: в черных шинелях к нам приезжали в детдом немцы. Правда, когда они брали кровь, они вели нас в отдельную комнату и были в белых халатах, но белые халаты не запомнились. Запомнилась черная форма…

Дома я не могла привыкнуть к сестре: это должно быть что-то такое родное, а я первый раз в жизни ее вижу, и она почему-то моя сестра. Мама днями пропадала на работе. Утром мы просыпаемся, ее уже дома нет, в печи стоят два горшка, сами вынимаем кашу. Весь день я жду маму, придет что-то необыкновенное, какое-то счастье. Она придет, мы уже спим.

Нашла где-то не куклу, а голову от куклы. Влюбилась в нее. Это была моя радость, носила ее с утра до вечера. Больше игрушек у меня не было. Мечтала о мячике. Выйду во двор, у всех мячики, носили их тогда в специальных сеточках, они так и продавались. Попрошу у кого-нибудь, дадут подержать.

Купила я себе мячик в восемнадцать лет с первой своей получки на часовой заводе. Мечта сбылась: принесла мячик и повесила дома в сеточке на этажерке. Во двор мне с ним стыдно пойти, уже большая, я сидела дома и смотрела на него.

Через много лет собралась я к Степаниде Ивановне. Одна бы так и не решилась, но муж настоял:

— Пойдем вдвоем. Как же ты не хочешь ничего о себе узнать?

— Разве я не хочу? Я боюсь…

Набрала ее домашний телефон и услышала в ответ:

— Степанида Ивановна Дедюля умерла…

Простить себе не могу…

## «Вам надо ехать на фронт, а вы влюбились в мою маму…»

***Яня Чернина — 12 лет.***

***Сейчас — учительница.***

***Живет в Минске.***

Ехала в трамвае, и люди говорили: «Какой ужас! Какой ужас!» — а я никак не могла понять, что случилось, никак не могла связать это в слово «война». Прибежала домой и увидела свою маму, она месила место, и слезы градом лились у нее из глаз. Я спрашиваю: «Что случилось?» Первое, что она сказала: «Война! Бомбили Минск…» А мы только на днях вернулись в Ростов из Минска, где гостили у тети.

Первого сентября мы пошли в школу, десятого сентября школу закрыли. Началась эвакуация Ростова. Мама говорит, что нам надо собираться в дорогу, а я не соглашаюсь: «Какая может быть эвакуация?» Я пошла в райком комсомола и просила, чтобы меня досрочно приняли в комсомол. Мне отказали, потому что в комсомол принимали с четырнадцати лет, а мне только двенадцать. А я считала, что, если вступлю в комсомол, смогу тут же во всем участвовать, сразу стану взрослой.

Сели мы с мамой в вагон, был у нас с собой один чемодан, в том чемодане лежали две куклы: большая и маленькая. Помню, что мама даже не сопротивлялась, чтобы я их взяла. Как эти куклы нас спасли, потом расскажу…

Доехали до станции Кавказская, поезд разбомбили. Влезли на какую-то открытую платформу. Куда едем, не знали. Знали одно: едем от фронта. Лил дождь, мама меня закрывала своим телом. На станции Баладжары под Баку слезли мокрые и черные от паровозного дыма. И голодные. Жили мы до войны скромно, очень скромно, у нас не было хороших вещей, которые можно бы отнести на базар, обменять или продать, у мамы был с собой только паспорт. Сидим на вокзале и не знаем, что делать. Идет солдат, не солдат. а солдатик, совсем маленький, черненький, с котомкой за плечами, с котелком. Видно, что его взяли в армию, что он на фронт отправляется. Остановился возле нас, я прильнула к маме. Он спрашивает:

— Женщина, куда едешь?

Мама отвечает:

— Не знаю. Мы — эвакуированные.

Говорит он по-русски, но с большим акцентом:

— Не бойся нас, поезжай в аул к моей матери. У нас всех забрали в армию: отца нашего, меня, двух братьев. Она одна осталась. Помоги ей, и проживете вместе. А я вернусь и женюсь на твоей дочке.

И сказал адрес, записать было не на чем, мы запомнили: станция Евлах, район Ках, село Кум, Мусаев Муса. Адрес запомнился на всю жизнь, хотя мы по нему не поехали. Взяла нас к себе одинокая женщина, жила она во времянке фанерной, в которой помещались только кровать и маленькая тумбочка. Спали так: головы наши на проходе, а ноги — под кроватью.

Нам везло на хороших людей. Не забуду, как к маме подошел военный, разговорились, и он рассказал, что у него в Краснодаре погибла вся семья, а он едет на фронт. Товарищи его криат, зовут к эшелону, а он стоит и не может от нас уйти.

— Я вижу, что вы бедствуете, разрешите мне оставить вам свой аттестат, у меня никого больше нет, — вдруг оговорит он такие слова.

Мама заплакала. А я поняла все по-своему, я стала на него кричать:

— Идет война, у вас вся семья погибла, вам надо ехать на фронт, а вы вместо этого влюбились в мою маму. Как вам не стыдно!

Они вдвоем с мамой плачут, а я стою и не понимаю, как моя хорошая мама может разговаривать с таким плохим человеком: он не хочет ехать на фронт, он говорит о любви, а ведь любовь может быть только в мирное время. Почему я решила, что он говорит о любви? Ведь речь шла только о его лейтенантском аттестате…

Еще хочу вам рассказать о Ташкенте. Ташкент — это моя война. Жили мы в общежитии завода, на котором работала мама. Оно было в центре города, под общежитие отдали клуб почты. В вестибюле и в зрительном зале жили семейные, а на сцене — холостяки, их звали холостяками, но это были рабочие, у которых семьи остались в эвакуации. Наше с мамой место было в углу зрительного зала.

Дали нам карточки на пуд картошки мама с утра до ночи работала на заводе, я должна была получить эту картошку. И это как раз в то время, когда в городе карантин и детей в транспорт не пускали. День простояла в очереди, а потом четыре и пять кварталов тянула мешок, поднять его я не могла. Просила, чтобы мне разрешили подъехать трамваем, мне не разрешили. И вот, когда осталось лишь перейти дорогу перед нашим общежитием, я не могла перейти, упала на мешок и разрыдалась. Чужие люди помогли: принесли в общежитие меня и картошку. До сих пор я чувствую ту тяжесть, каждый тот квартал. Бросить картошку я не могла, в ней было наше спасение. Я бы умерла, но ее не бросила. Мама приходила с работы голодная, синяя.

Мысль о том, что я должна маме чем-то помогать. что мы голодаем и мама стала такой же худенькой, как я, не покидала меня. Как-то совсем нечего было есть, я решила продать наше единственное байковое одеяло и за эти деньги купить хлеба. А детям не разрешалось торговать, и меня отвели в детскую комнату милиции. Я сидела там, пока не сообщили маме на завод. Мама приехала после смены, забрала меня, несла в байковом одеяле домой, потому что я изревелась от стыда и от того, что мама голодная, а дома нет ни кусочка хлеба. У мамы была бронхиальная астма, ночью она страшно кашляла и задыхалась. От своей порции хлеба тайком я оставляла кусочек ей на ночь; когда она кашляла, ей надо было проглотить хотя бы крошечку и становилось легче. И я всегда прятала под подушку хлебный кусочек для нее, хотя, кажется, уже сплю, но все равно помню, что под подушкой лежит хлеб и мне страшно хочется его съесть.

Тайком от мамы пошла устраиваться на завод. А была я такая маленькая, типичный дистрофик, что брать меня не хотели. Стою и плачу. Кто-то сжалился, меня взяли в цеховую. бухгалтерию: заполнять наряды рабочим, брать расценку и множить на количество деталей, начислять зарплату. Работала на машине, это прототип нынешней счетной машины. Теперь она работает беззвучно, а тогда это был трактор, причем она работала только с лампой. Двенадцать часов моя голова была как на горячем солнце, а от тарахтения машины к концу дня я глохла.

И вот произошел со мной ужасный случай: одному рабочему вместо двухсот восьмидесяти рублей я насчитала восемьдесят. А у него было шестеро детей, и никто мою ошибку не заметил, пока не наступил день получки. Слышу, кто-то бежит по коридору и кричит: «Убью! Убью! Чем я детей кормить буду?»

Мне говорят:

— Прячься, это, наверное, тебя.

Дверь открылась, и я прижалась к машине, прятаться некуда. Вскочил большой мужчина, в руках у него что-то тяжелое:

— Где она?

Ему показали на меня:

— Вот она…

Он даже к стенке прислонился.

— Тьфу! И убить некого, у самого такие, — повернулся и пошел.

А я как упаду на машину, как разревусь.

Мама работала в отделе технического контроля этого же завода. Завод наш делал снаряды к «катюшам», снаряды были двух калибров — шестнадцать и восемь килограммов. Корпус снаряда под давлением проверялся на прочность. Снаряд нужно было поднять, закрепить и дать нужное количество атмосфер. Если корпус был качественный, шкала зашкаливала, тогда снимали и складывали в ящики. А если некачественный, резьба не выдерживала, снаряды с воем вылетали и летели вверх под купол, а потом падали неизвестно куда. И вот этот вой и этот страх, когда снаряды летели, все забивались под станки. По ночам мама вздрагивала и кричала…

Шел сорок третий год, уже наши войска давно наступали, освободили Ростов. Я поняла, что мне надо учиться. Пошла к директору завода. В кабинете у него стоял высокий стол, меня из-за этого стола не видно. Говорю:

— Хочу уволиться с завода, мне надо учиться.

Директор разозлился:

— Мы никого не увольняем, военное время.

— Я ошибаюсь в нарядах, потому как неграмотная. Вот недавно человека обсчитала.

— Научишься. У меня людей не хватает.

— А после войны нужны будут грамотные люди, а не недоучки.

— Ах ты, козявка, — директор поднялся из-за стола, — все знаешь.

В школу я пошла в шестой класс, учебников не было, тетрадей не было, учителя нам рассказывали, а мы сидели и вязали носки, варежки, кисеты для армии.

Ждали конца войны, это была такая желанная мечта, что мы с мамой даже боялись о ней говорить. Мама была на заводе, а к нам пришли уполномоченные и у всех спрашивали: «Что вы можете дать в фонд обороны?» Спросили и у меня. Что у нас было? У нас ничего не было, кроме нескольких облигаций, которые мама берегла. Все что-то дают, а как это мы не дадим. Отдала я все облигации.

Помню, что мама, вернувшись с работы, меня не ругала, она только сказала: «Это все. что у нас было, помимо твоих кукол».

С куклами я тоже рассталась. Мама потеряла месячные хлебные карточки, мы погибали буквально. И мне пришла в голову спасительная идея попробовать обменять на что-нибудь мои две куклы — большую и маленькую. Отправились с ними на базар. Подошел старый узбек: «Сколько стоит?» Мы сказали, что нам надо прожить месяц, у нас нет карточек. Старый узбек дал нам пуд риса. И мы не умерли с голода. Мама поклялась: «Я куплю тебе этих кукол, как только мы вернемся домой».

Когда мы вернулись в Ростов, она не сумела их мне купить, мы снова нуждались. Она купила их мне в день окончания института. Принесла большую и маленькую куклу…

## «Все вчетвером впряглись мы в эти саночки…»

***Зина Приходько — 4 года.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Гомеле.***

Бомбят, дрожит весь наш дом. А дом наш был небольшой, с садом. Мы спрятались в доме, закрыли ставни. Сидим вчетвером: мои две сестрички, я и наша мама. Мама говорит, что, мол, закрыли ставни и теперь не страшно. И мы соглашаемся, что не страшно, а сами боимся, но не хотим расстраивать маму.

…Помню, как идем за подводой, потом нас, маленьких, кто-то посадил на узлы. Почему-то мне казалось, что если я засну, то меня убьют, изо всех сил старалась не закрывать глаза, а они сами закрывались. Тогда мы договорились со старшей сестричкой, что сначала я закрою глаза, посплю, а она будет сторожить, чтобы нас не убили, потом она заснет, а я буду сторожить. Но заснули обе и проснулись от крика мамы: «Не пугайтесь! Не пугайтесь!» Впереди стреляли — и кричали люди. Мама пригибала нам головы и не давала смотреть в ту сторону.

Стрельба кончилась, мы поехали. Я увидела, что в канаве возле дороги лежат люди, и спросила у мамы:

— Что эти люди делают?

— Они спят, — ответила мама.

— А почему они спять в канаве?

— Потому что война.

— Значит, и мы будем спать в канаве? А я не хочу спать в канаве, закапризничала я.

Перестала капризничать, когда увидела, что мама плачет.

Куда мы шли, куда мы ехали, конечно, не знала. Не понимала. Помню только слово — Азаричи и проволоку, к которой мама не разрешала подходить. После войны мне объяснили, что мы были в Азаричском концлагере. Я даже ездила туда, на то место. Но что там теперь увидишь? Трава, земля… Все обыкновенное. Если что-то осталось, то только в памяти.

В памяти?.. Маму откуда-то приносят и кладут на землю. Подползаем к ней, помню, что подползаем, а не подходим. Зовет: «Мама! Мама!» Я прошу: «Мама, не спи!» А мы уже все в крови, потому что мама в крови. Думаю: мы не понимали, что это кровь и что такое кровь, но до нас дошло, что это что-то страшное.

Каждый день приходили машины, на них садились люди и уезжали. Мы просили маму: «Мамочка, давай поедем на машине. Может, она едет в ту сторону, где живет бабушка?» Почему мы вспоминали бабушку? Потому что мама всегда говорила, что тут рядом живет наша бабушка и не знает, где мы. Она думает, что мы в Гомеле. Мама не хотела ехать на машине, она оттаскивала нас от машины. А мы плакали, мы просили, мы уговаривали ее. В одно утро она согласилась…

Не могу рассказывать, начинаю плакать или щипать себе сильно руки, чтобы не плакать. Не могу, чтобы без слез было.

Ехали мы долго, и кто-то маме сказал или она сама догадалась, что нас везут на расстрел. Когда машина остановилась, всем приказали выходить. Там был хутор, и мама спрашивает у конвоира: «Можно ли попить водички? Дети просят пить». Он разрешил нам зайти в хату. Мы зашли в хату, хозяйка дала большую кружку воды. Мама пьет маленькими глотками, медленно, а я думаю: «Мне так хочется есть, отчего это маме захотелось пить?»

Выпила мама одну кружку, попросила вторую. Хозяйка зачерпнула, подала ей и говорит, что каждое утро в лес ведут много людей, а назад никто не возвращается.

— А есть у вас второй выход, чтобы нам уйти отсюда? — спрашивает мама.

Хозяйка показала рукой — есть. Одна дверь у нее вела на улицу, а вторая — во двор. Мы выскочили из этой хаты и поползли. Мне кажется, что мы не дошли, а доползли до дома нашей бабушки. Как и сколько ползли, не помню.

Нас бабушка положила на печку, а маму на кровать. Утром мама начала умирать. Мы сидели испуганные и не могли понять: как это мама может умереть, оставить нас, когда нет папы? Помню, что мама подозвала нас, улыбнулась:

— Никогда не ссорьтесь, дети.

А чего нам ссориться? Нам не было из-за чего ссориться. Кукол у нас не было и мамы не было.

Вечером бабушка завернула маму в большую белую простыню и положила на саночки. Все вчетвером впряглись мы в эти саночки…

Росла я тихая, неразговорчивая. Мне не хотелось говорить.

## «Эти два мальчика стали легонькие, как воробьи…»

***Рая Ильинковская — 14 лет.***

***Сейчас — преподаватель логики Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина.***

***Живет в Минске.***

Мне кажется, я и сейчас помню, как пахли липы в родном Ельске. В войну все, что было до войны, казалось самым прекрасным на свете. Так это во мне и осталось по сию пору.

В первые дни войны из Ельска мы эвакуировались — мама, я и младший брат. Остановились в селе Грибановка под Воронежем, думали там ждать конца войны, но через несколько дней после того, как мы приехали, немцы подошли к Воронежу…

Сели в товарняк, сказали нам, что повезут всех далеко на восток. Мама утешала нас так: «Там будет много фруктов». Ехали долго, потому что часто стояли на запасных путях. Где сколько стоять будем, не знали, поэтому с большим риском выскакивали на станциях, чтобы взять воды. Горела у нас буржуйка, на весь вагон варили на ней ведро пшенной каши.

Поезд встал на станции Курган-Тюбе, под Анждижаном. меня поразила незнакомая природа и поразила так сильно, что на какое-то время я даже забыла о войне, о страшном. Все цвело, пылало, было столько солнца. Я опять стала улыбаться.

Привезли нас в колхоз «Кызыл юл». Сколько времени прошло, а все названия помню. Даже сама удивляюсь, что помню. Помню, как тогда заучивала, повторяла все непривычное. Стали мы жить в школьном спортзале, вместе восемь семей. Местные жители принесли нам одеяла и подушки. Узбекские одела шьются из разноцветных кусочков, подушки набиваются хлопком. Я быстро научилась собирать охапки сухих стеблей хлопчатника, гуза пан, — им топили.

Мы не сразу поняли, что и здесь война. Дали нам немного муки, но этого мало, ненадолго хватило, стали голодать. Узбеки тоже голодали. Вместе с узбекскими мальчишками мы бегали за телегами, и о счастье, если что-то с телеги упадет. Самой большой радостью для нас был жмых, жмых из льна, а из хлопковых зерен он желтый, так похож на гороховый, очень твердый.

Брату Вадику было шесть лет, его мы оставляли дома одного, а с мамой шли на работу в колхоз. Окучивали рис, собирали хлопок. С непривычки у меня болели руки, ночью я не могла уснуть. Вечером возвращаемся с мамой домой, навстречу нам несется Вадик, и через плечо на веревочке у него болтаются три воробья, а в руках рогатка. Он уже помыл свои «охотничьи» трофеи в речке и ждет маму, сейчас начнем варить суп. Гордый такой! Едим мы с мамой суп и нахваливаем, а воробьи такие худые, что в кастрюльке ни жиринки не блестит, над кастрюлей блестят только счастливые глаза брата.

Дружил он с узбекским мальчиком, однажды тот пришел к нам со своей бабушкой. Смотрит она на мальчиков, кивает головой и что-то говорит маме. Мама не понимает, но тут зашел бригадир, он знал русский язык. Он нам перевел: «Она со своим богом разговаривает: с аллахом. И жалуется ему, что война — это дело мужчин, воинов. Зачем же детям страдать? Как он допустил, что эти два мальчика стали легонькие, как воробьи, в которых они стреляют из рогаток?» Бабушка высыпает на стол горсть золотых сушеных урючин: твердые и сладкие, как сахар! Их можно долго сосать, откусывать по маленькому кусочку, а потом расколоть косточку и съесть хрустящее зернышко.

А внук ее смотрит на эти урючины, и глаза у него, видно нам, тоже голодные. Мама растерялась, бабушка погладила ей руку, успокоила, прижала внука к себе. «У него всегда есть пиала катека, потому что он живет дома, с бабушкой», — перевел бригадир. Катек — это кислое козлиное молоко. Нам с братом, сколько мы были в эвакуации, казалось, что ничего вкуснее на свете нет.

Они уходят, бабушка и мальчик, а мы сидим втроем за столом, все трое, и никто не решается первым протянуть руку к золотым урючинам…

## «Стеснялся, что ботинки у меня девчоночьи…»

***Марлен Робейчиков — 11 лет.***

***Сейчас — заведующий отделом горисполкома.***

***Живет в Минске.***

Взрослые не разрешали нам, а мы все равно залезали на деревья и наблюдали за воздушными боями. Плакали, когда горели наши самолеты, а страха не было, как будто смотрели кино. На второй или на третий день была общая линейка, и директор объявил. что наш пионерский лагерь эвакуируется. Мы уже знали. что горит от бомб Минск, что домой нас не повезут, повезут куда-то дальше от войны.

Я хочу рассказать, как мы собирались в дорогу. Велели нам взять чемоданы и сложить в них только самые необходимые вещи: маечки, рубашки, носки, носовые платки. Упаковали мы их, а наверх каждый положил свой пионерский галстук. В детском воображении рисовалось: встретят нас немцы, откроют чемоданы, а там лежат красные галстуки… Так мы отомстим за все.

Состав наш шел быстрее войны, обогнал войну, на тех станциях, где мы останавливались, про войну еще ничего не знали, ее не видели. И мы, дети, рассказывали взрослым про войну, рассказывали, как горел Минск, как бомбили наш лагерь, как горели наши самолеты. Но чем дальше отъезжали от дома, тем больше ждали. что приедут родители и заберут нас, а то, что у многих уже нет родителей, до нашего сознания не доходило.

С поезда нас пересадили на теплоход «Парижская коммуна» и повезли по Волге. Полмесяца мы были в дороге, ни разу не раздевались. На теплоходе я первый раз снял тапочки, нам разрешили. У меня были прорезиненные тапочки с тесемочками. Когда я их снял, то ни так пахли, что надеть их больше я уже не мог. Мыл, мыл и выбросил. Приехал в Хвалынск босиком.

Привезли нас так много, что создали два белорусских детских дома, в первом — школьники, во втором — дошкольники. Почему я об этом знаю? Потому что очень плакали те, кому надо было разлучаться с братом или сестричкой, особенно плакали маленькие, боялись остаться без старших. Когда мы в пионерском лагере были без родителей, было интересно, это была игра, а тут мы все испугались. Мы же были домашние дети, привыкшие к родителям, к ласке. Моя мама меня всегда утром будила, целовала на ночь. Рядом с нами был детдом, где жили «настоящие» детдомовцы, о них мы резко отличались. Они привыкли жить без родителей, а нам надо было к этому привыкать.

Запомнил меню сорок третьего года: ложечка топленого молока и кусочек хлеба, щи из арбузных корок. Посмотрели кинокартину «Март — апрель», там рассказывалось, как наши разведчики из березовой коры варили кашу. Наши девочки тоже научились варить березовую кашу.

Осенью сами заготавливали дрова, на каждого норма — один кубометр. Лес был в горах. Его сначала валили, обтесывали, потом распиливали на метровые куски и складывали в штабеля. Норма была рассчитана на взрослого человека, а с нами еще и девочки работали, у них такая же нора. Доставалось больше нам, мальчишкам. Дома мы никогда не пилили, потому что все городские, а здесь такие толстые бревна нужно было пилить и колоть.

Есть хотелось днем и ночью, за работой и во сне, все время хотелось есть. Особенно зимой. Мы бежали из детдома в воинскую часть, там иногда нам перепадал черпак супа. Но нас было много, там тоже не могли накормить всех. Успеешь первым — что-нибудь получишь, опоздал — с тем и уйдешь. У меня бы друг Мишка Черкасов. Сидим, он говорит: «За двадцать километров пошел бы, если бы знал. что там дадут миску каши». На дворе тридцать градусов, он оделся и побежал в воинскую часть. Просить у солдат чего-нибудь поесть, они сказали, что есть немного супа, давай, парень, беги за котелком. Он вышел на улицу, смотрит: другие дети тоже идут, и, если он побежит в детдом за котелком, ему ничего не достанется.

Возвращается он назад и говорит солдатам: «Лейте!» Вместо котелка снимает и подставляет шапку. Настолько у него был решительный вид, что солдат взял и вылил ему в шапку весь черпак. Миша героем прошел мимо детдомовских, которым ничего не досталось, прибежал в свой детдом. Он отморозил уши, но принес нам суп, там был уже не суп, а полная шапка льда. Вывернули этот лед в тарелку, никто не ждал. пока нагреется, ели так, а девочки оттирали Мише уши. Сколько на его лице было радости, что он принес для всех. он даже есть первым не начал.

Самой вкусной едой для нас был жмых, мы делили его на сорта по вкусовым качествам, один сорт назывался халвичным. Проводили операцию «Макуха». Несколько человек на ходу залезают на машину, сбрасывают пласты макухи, другие подбирают. Возвращались в детдом с синяками, зато сытые. Ну, и, конечно, летние и осенние базары! Вот когда нам было немного хорошо. Напробуешься всего: у оной хозяйки — кусочек яблока, у другой — кусочек помидора. Воровать что-нибудь на базаре не считалось зазорным, наоборот геройством. Что тащить — нам было все равно, нам бы что-то поесть, а что неважно.

У нас в классе учился сын директора маслозавода. Дети есть дети, сидим на уроке, в «морской бой» играем. А он ест сзади хлеб с подсолнечным маслом. Оно пахнет на весь класс.

— Ну, — шепчемся и показываем ему кулаки, — пусть только уроки кончатся…

Смотрим — нет учительницы, смотрим — она на полу лежит. Она была голодная и тоже услышала этот запах и упала в обморок. Наши девочки отвели ее домой, она жила с матерью. Вечером решили, что каждый начнет оставлять по маленькому кусочку хлеба и будем его отдавать учительнице. Сама она бы у нас ни за что не взяла, мы тайком носили ее матери и спросили не говорить, что это от нас.

Был у нас свой сад и свой огород. В саду росли яблоки, а на огороде капуста, морковка, бураки. Мы их охраняли, дежурили по несколько человек. Сдавая дежурство, все пересчитывали: каждый кочан капусты, каждую морковку. Ночью думаешь: «Пусть бы на ночь еще одна морковка выросла. Ее бы не было в списке и можно было съесть». Если морковка числится в списках, не дай бог ей пропасть.

Сидим на огороде, кругом еда, а мы не кушаем. А есть ужасно хочется. Один раз я дежурил с мальчиком постарше. Он мне говорит:

— Видишь, корова пасется…

— Ну и что?

— Дурак! А ты разве не знаешь, что есть постановление, если частная корова пасется в угодье государственном, то корову или отбирают, или штрафуют хозяев.

— Она же на лугу пасется.

— Что она там, привязанная?

И вот он излагает свой план — берем корову, притаскиваем в свой сад и привязываем. Затем ищем хозяйку. Так мы и сделали: притащили корову в свой детдомовский сад и привязали. Напарник мой сбегал в деревню, нашел хозяйку, и, мол, так и так, корова ваша находится в государственном саду, а вы же знаете постановление.

Не думаю, что хозяйка поверила нам и испугалась, пожалела она нас, поняла, что голодные. Договорились так как: мы пасем ее корову, а за это она дает нам несколько картофелин.

Заболела у нас одна девочка, ей надо было перелить кровь. Так во всем детдоме не у кого было взять кровь.

Собралось нас несколько мальчишек, самых отчаянных, решили убежать на фронт. Но, на наше счастье, приехал в детдом капельмейстер. капитан Гордеев. Он отобрал четырех музыкальных мальчиков, в том числе и меня.

В армию нас провожали всем детдомом. У меня нечего было надеть, так одна девочка отдала свой матросский костюм, у другой было двое ботиночек. В этом я и поехал на фронт, больше всего стеснялся, что ботиночки у меня девчоночьи…

## «Один звук услышу, вся дрожу…»

***Люда Андреева — 5 лет.***

***Сейчас — контролер завода вычислительных машин.***

***Живет в Минске.***

…От войны у меня осталось впечатление как от костра, который горел, горел бесконечно. Соберемся маленькие дети, и знаете, о чем мы говорим? Что до войны мы любили булочки и сладкий чай и что этого больше никогда не будет.

Мы уже знали, когда надо плакать, потому что видели, когда плачут наши матери. Плакали, когда вели по улицам наших военнопленных, на голове у них были не белые и не красные бинты, а черные. А я уже знала, что кровь красного цвета, и не могла понять: почему бинты черные и люди сами черные? Они смотрели на нас и тоже плакали черными слезами. Для меня самое страшное было найти среди них своего отца, что оно будет такой черный. Папу я помнила сильного, красивого.

Я знала, что мама у меня молодая и красивая, у других детей были мамы постарше, но в пять лет я поняла, что для нас это плохо, что мама молодая и красивая. Это опасно.

Через столько лет, а все равно не могу рассказывать… Возле нашего дома остановилась немецкая машина, она не специально остановилась, она испортилась. Солдаты зашли в дом, меня и бабушку прогнали в другу. комнату, а маму заставили им помогать. Грели воду, готовили ужин. Они так громко разговаривали, что мне казалось, что они не разговаривают друг с другом и не смеются, а кричат на маму.

Стало темно, уже вечер. Вдруг мама вбегает в комнату, хватает меня на руки и бежит на улицу. Сада у нас не было и двор пустой, бегаем и не знаем, куда спрятаться. Залезли под машину. Они вышли во двор и ищут, светят фонариками. Мама лежит на мне, и я слышу, как у нее стучат зубы.

Утром, когда немцы уехали и мы вошли в дом, бабушка наша лежала на кровати голая, привязанная к ней веревками… Мне так стало страшно, что я закричала. Мама вытолкнула меня в другую комнату, но я же все видела…

Очень боялась самолетов. Один звук услышу, вся дрожу. От бомб мы прятались в каких-то ямах. Слышу гул самолета, бегу туда первая. Уже война кончилась, уж мы в школу пошли… Вижу, что трамвай идет, а ничего не могу с собой сделать, у меня стучат зубы. Мне кажется, что самолет летит. В классе нас было трое, кто пережил оккупацию. Весной тепло, откроет учительница окна… услышим гул самолета, глаза у нас делаются огромные, зрачки расширяются, мы дрожим. А дети, которые вернулись из эвакуации, над нами смеются.

Был первый салют… Люди выбежали на улицу, а мы с мамой спрятались в яме. Сидели там, пока не пришли соседи: «Вылезайте — это не война, а праздник такой». Тогда мы вылезли. Я боялась винтовки, боялась пистолета, боялась на них смотреть. Я знала, что из них убивают людей. Так продолжалось года четыре.

После уроков мы играли «в куклы». Кукол не было, положим кусочек кирпича и представляем, что это кукла. Или кто-то самый маленький изображал, что он кукла. Если я сегодня увижу в песке цветные стеклышки, мне хочется их поднять. Это тоже были наши игрушки.

## «Все взялись за руки…»

***Андрей Толстик — 7 лет.***

***Сейчас — кандидат экономических наук.***

***Живет в Могилеве.***

Мальчик был… Совсем маленький… Маму помню… Она пекла самый вкусный хлеб в деревне, у нее были самые красивые грядки на огороде. Самые большие георгины цвели у нас в палисаднике и на дворе. Всем нам она вышила красивые сорочки — отцу, двум старшим братьям и мне. Вышивался воротничок. Красным, синим, зеленым крестиком…

Не помню, кто первый сказал мне, что маму расстреляли. Кто-то из соседских женщин. Я прибежал домой. Говорят: «Ее расстреляли не в хате, а за деревней». Отца нет — отец в партизанах, братьев старших нет — они в партизанах, двоюродного брата нет — он в партизанах. Пошел к соседу, деду Карпу:

— Маму убили. Надо привезти.

Запрягли корову и поехали. Возле леса дед Карп меня оставил:

— Ты тут постой. Я старый, мне не страшно, если убьют. А ты пацан.

Жду. Мысли в голове разные, что я скажу отцу? Как я ему скажу, что маму убили? Ну, и детское — если я увижу маму мертвую, то она уже никогда не будет живая. А если не увижу ее мертвую, то приду домой, и мама дома.

На воз не сел, шел рядом. У мамы была прострелена автоматной очередью вся грудь. Полоса такая на кофточке… И черная дырочка в виске… Добивали из пистолета… Мне хотелось, чтобы ей скорее завязали белый платок, чтобы не видеть эту черную дырочку. Было такое чувство. что ей еще больно…

В деревне каждый день кого-нибудь хоронили. Запомнил, как хоронили четырех партизан. Троих мужчин и девушку. Партизан хоронили часто, но хоронили мужчин. Первый раз я видел, как хоронили женщину. Ей вырыли отдельную могилку… Она долго лежала на траве под старой грушей… Все смотрели…

— Почему ее положили отдельно? — спрашивал я.

— Молодая… — сказали бабы.

— Красивая? — не понимал я.

Врезалось в память такое…

Копается в грядках женщина. Среди подсолнухов… Двое немцев идут по дороге. Один поднимает автомат, стреляет в эту женщину, второй срезает очередью подсолнухи. Как шли, так и пошли.

За плетнем сижу я… Все вижу…

Когда остался один, без родных, без родственников, я испугался. Как я буду жить? Привели меня в деревню Залесье к тетке Марфе. Детей своих у нее не было, муж воевал на фронте. Сидим в погребе, прячемся, она прижмет мою голову к своей: «Сынок…»

Заболела тифом тетка Марфа. Заболел я. меня забрала к себе бабка Зенька. У нее два сына воевали на фронте. Ночью проснусь, она сидит возле меня на кровати: «Сынок…» Все из деревни убегут от ненцев в лес, а бабка Зенька — возле меня. Ни разу не оставила.

После тифа долго не мог ходить. Ровная дорога — иду, а чуть горка ноги подкашиваются. Уже ждали наших солдат. Женщины пошли в лес, набрать земляники. Другого угощения не было.

Солдаты шли уставшие. Бабка Зенька насыпала им в каски красную землянику. Они все угощали меня. А я сидел на земле и не мог встать.

Возвратился отец. Он знал, что я больной, и принес мне кусочек хлеба и кусочек сала, с палец толщиной. Сало и хлеб пахли махоркой. Все пахло отцом.

…Слово «Победа!» услышали, когда собирали на лугу щавель. Все дети взялись за руки и так шли к деревне…

## «Мы даже не знали, как хоронят…»

***Михаил Шинкарев — 13 лет.***

***Сейчас — железнодорожник.***

***Живет в Орше.***

С братом Виктором мы были близнецы. До войны успели окончить по шесть классов и вступить в пионеры. Галстуки пионерские не снимали, так гордились. Когда пришли немцы, днем мы галстуки снимали, а ночью повязывали и засыпали. Пока мама не стала плакать, что это опасно для всей семьи. Галстуки красные!

Сняли и завернули в кусочек клеенки, закопали вместе с найденной винтовкой в кустах возле речки. Тоже конспираторы! Каждый день приходили проверять на то место. Кто-то из взрослых подсказал, что там был смертельно ранен наш пулеметчик и вместе со своим «дегтярем» свалился в речку. Через несколько дней увидели, как со дна поднимается что-то черное. Именно этот момент настигли! Решили: затопленное бревно, а оно, это что-то, подталкивалось течением к берегу, и мы рассмотрели руки, голову… Мы рассмотрели, что это человек. Мне помнится, что мы не испугались. Месяц войны… У нас уже почему-то не было страха от вида смерти. Вытащили пулеметчика на берег и похоронили. А еще месяц назад мы бы этого сами без взрослых не сделали. Месяц назад мы даже не знали, как хоронят.

Два дня ныряли за пулеметом…

## «Собрал в корзинку…»

***Леонид Сиваков — 6 лет.***

***Сейчас — слесарь-инструментальщик.***

***Живет в Могилеве.***

…Уже солнышко взошло. Они дали хозяйкам выгнать за речушку Грезу коров и стали ходить по хатам…

Заходили в хату со списком и по списку стреляли. Читают: мать, дед… Дети такие-то, по стольку лет… Посмотрят по списку, если одного нет, начинают искать… Под кроватью ребенка найдут, под печкой… Когда всех найдут, тогда стреляют…

У нас в хате собралось шесть человек: бабушка, мама, старшая сестра, я и два младших братика. Шесть человек… Увидели в окно, как они пошли к соседям, побеждали в сени с братиком самым маленьким, закрылись на крючок. Сели на сундук и сидим возле мамы.

Крючок слабенький, немец сразу оторвал. Через порог переступил и дал очередь. Я разглядеть не успел: старый или молодой? Мы все упали, я завалился за сундук…

Первый раз пришел в сознание, когда услышал, что на меня что-то капает…

Капает и капает, как вода. Поднял голову: мамина кровь капает, мама лежит убитая. Пополз под кровать, все залито кровью… Я в крови, как в воде, выкупался…

Слышу: заходят двое. Пересчитывают: сколько убитых. Один говорит: «Тут одного не хватает. Надо искать». Стали они искать, нагнулись под кровать, а там мама приховала мешок жита, а за ним я лежу. Вытянули они мешок и пошли довольные. Забыли, что одного по списку недосчитались.

Они пошли, я потерял сознание…

Второй раз пришел в себя, когда загорелась наша хата. Мне стало сильно жарко и тошнота такая. Вижу, что в крови, а не понимаю, что я раненый, боли не чувствую. Полная хата дыма… Как-то я выполз в огород, потом к соседу в сад. И только тут почувствовал, что у меня ранена нога и перебита рука. Боль ударила! Какое-то время опять ничего не помню…

Третий раз пришел в сознание, когда услышал, как кричала женщина. Пищали свиньи, кричали и горели раненые куры… А людей не слышно был. Один этот крик… Я пополз на него…

Крик висел и висел в воздухе. Кто-то кричал так, что, мне казалось, он не останавливается. Полз по этому крику, как по ниточке, и приполз к колхозному гаражу… Никого не вижу… Крик откуда-то из-под земли идет… Тогда я догадался, что кто-то кричит из смотровой ямы, ну, как это в гараже всегда есть…

Встать я не мог. подполз к яме и перегнулся вниз… Полная яма людей… Это все были смоленские беженцы, они у нас жили в школе. Семей двадцать… Все лежали в яме, а наверху поднималась и падала раненая девочка… И кричала… Мне стало так страшно… Я оглянулся назад: куда теперь ползти? Уже горела вся деревня… И никого живого… Одна эта девочка… Я упал к ней… Сколько лежал, не знаю…

Пришел в сознание — девочка мертвая. И толкну, и позову — не отзывается. Один я живой, а они все мертвые. Солнце пригрело, от теплой крови пар идет. Рядом сильно слышно, до тошноты.

Лежал так до Субботы, то есть сознание, то нет. В пятницу нас расстреляли, а в субботу приехали из другой деревни дедушка и мамина сестра. Они нашли меня в яме, положили на тачку. Тачка подскакивает, мне больно, я хочу кричать, а у меня нету голоса. Я мог только плакать… Долго не разговаривал… Очень долго… Десять лет… Что-то немного шептал, но никто не мог разобрать моих слов… Через десять лет стал одно слово говорить хорошо, второе… Сам себя слушал…

А там, где был наш дом, дедушка собрал в корзинку косточки… Полной корзинки даже не было…

## «Котят они вынесли из хаты…»

***Тоня Рудакова — 5 лет.***

***Сейчас — заведующая детским садом.***

***Живет в райцентре Быхове Могилевской области.***

Первый год войны помню мало…

Приехали немцы утром, еще на дворе серенько было. Выстроили всех на лужку, и всем, кто стриженый, сказали: «Выходи!» А стриженые были военнопленные, которых люди домой позабирали. Отвезли их недалеко за деревню и постреляли.

До этого мы бегали за деревню, под лес. Играли. А тут все дети стали бояться.

Помню, как напекла мама хлеба. Много хлеба напекла: на лавках, на столе, на полу на рушниках лежал, в сенцах. Я удивлялась:

— Мама, зачем нам столько хлеба? Дядей постреляли. Кого ты будешь кормить?

Она прогнала меня на улицу:

— Иди к детям…

Потом хлеба не стало. Ночью его забрали партизаны. И никогда больше я столько хлеба не видела. Немцы подскребли по хатам все дочиста, голодали мы, я же не понимала, я просила маму:

— Растопи печь и напеки хлеба, как тогда, много-много…

Это все, что я помню из первого года войны. Наверное, я подросла, потому что дальше помню больше. Когда нашу деревню жгли, все-все запомнила…

На улице они не расстреливали, только в хатах. Стоим все в окне:

— Вон Аниську пошли расстреливать…

— У Аниськи кончили, к тетке Анфисе идут…

И мы стоим, мы ждем — придут и нас расстреляют. Никто не плачет, никто не кричит. Стоим. У нас была соседка со своими мальчиками, на говорит:

— Пойдем на улицу… На улице не расстреливают…

Заходят они во двор: первый — солдат, второй — офицер. Офицер высокий, сапоги у него высокие, высокая фуражка. Как сейчас помню — красивый, очень красивый.

Стали они загонять нас в дом. Соседка упала на траву и целует офицеру сапоги:

— Не загоняйте в хату… Мы знаем — там стрелять будете…

Они: «Цурюк! Цурюк!», это значит — назад. В доме мама села на лавку возле стола. И я запомнила, что она взяла кружечку с молоком, стала нашего маленького прикармливать. А так тихо, что мы все слышим, как он чмокает.

Я села в уголочке, впереди себя веник поставила. На столе была длинная скатерть, соседский мальчик под стол спрятался. Брат под кровать заскочил. А соседка возле порога на колени стала и за всех просит:

— Паночку, у нас детки маленькие. Паночку, у нас деток, что гороху…

Вот я запомнила, как она просила. Просила она долго.

Офицер подошел к столу, поднял скатерть и выстрелил. Оттуда — крик, он еще раз выстрелил. Тот кричит, он раз пять стрелял.

Смотрит на меня… Как ни стараюсь спрятаться за веник, никак не спрячусь. У него такие красивые карие глаза… В это время выходит из другой комнаты солдат, ну, как выходит — сорвал штору, и все, и зовет его, а там на кровати лежат маленькие котята. Кошки нет, котята одни. Они берут их на руки, улыбаются, играют. Поигрались, и офицер отдает их солдату, чтобы тот вынес на улицу. Котят они вынесли из хаты…

…Помню, как горели у убитой мамы волосы… А у маленького возле нее пеленки… Мы переползли через них со старшим братом, я держалась за его штанину: сначала — во двор, потом в огород, до вечера лежали в картофлянике. Вечером заползли в лес. И тут я расплакалась: «Куда мы пойдем без мамы?»

Года три не могла спать. День и ночь кричала. Только если за бабушкину руку держусь, закрою глаза… А так боюсь… Мне все время было страшно…

## «Запомнил: Мариуполь, парковая, 6…»

***Саша Солянин — 14 лет.***

***Сейчас — инвалид войны первой группы.***

***Живет в Могилеве.***

…На рассвете нас повели на расстрел. Никогда так умирать не хочется, как утром. Нас было трое: двое военнопленных — два старших лейтенанта и я. Мальчишка… Меня словили в лесу, когда оружие собирал.

Они мне шепчут:

— Беги… Мы бросимся на конвойных, а ты прыгай в кусты…

— Не побегу…

— Почему?

— Буду с вами.

Я хотел погибнуть вместе с ними.

— Приказываем: бежать! Жить!

Один, Данила Григорьевич Иорданов, был из Мариуполя, другой, Александр Иванович Ильинский, из Брянска.

— Запомнил: Мариуполь, Парковая, 6?.. Запомнил?..

— Брянск, улица…

Стали стрелять.

Я бежал, и в голове у меня стучало: запомнил, запомнил, запомнил?..

## «Я слышала, как у него остановилось сердце…»

***Лена Аронова — 12 лет.***

***Сейчас — юрист.***

***Живет в Минске.***

Начали бомбить наш Гомель, и родители решили отправить меня в Москву, в военной академии там учился мой брат. Все считали, что Москва никогда в жизни не будет захвачена, это неприступная крепость Уезжать я не хотела, но родители настояли, потому что, когда нас бомбили, я ничего не ела днями, в меня насильно впихивали еду. Мама решила, что в Москве спокойно, в Москве хорошоЮ там я поправлюсь. А ни с папой приедут, как только война кончится. Вот-вот.

Поезд до Москвы не дошел, высадил нас в Малоярославце. На вокзале был междугородный телефон, я все бегала, хотела дозвониться к брату, чтобы узнать, что мне делать дальше. Дозвонилась, брат сказал: «Сиди и жди, я за тобой приеду». В тревоге прошла ночь, людей было очень много, вдруг объявили: через полчаса отправляется поезд на Москву, садитесь. Я собрала вещи и побежала к поезду, забралась на верхнюю полку и уснула. Когда проснулась, поезд стоял около небольшой речушки, женщины стирали. «Где Москва?» — было мое удивление. Ответили, что нас везут на восток…

Вышла я из вагона и расплакалась от обиды, от отчаяния, что совершенно потеряла связь с Москвой. Что делать, не знаю, оказалась одна в такой ситуации. Меня увидела Дина, это была моя подружка, из Гомеля мы выезжали вместе, нас вместе наши мамы провожали, а в Малоярославце мы потерялись. Нас стало двое, и мне уже не так страшно. На станциях нам приносили еду к поезду: бутерброды, молоко в бидонах на подводах, один раз даже суп привезли.

В Кустанайской области на станции Джаркуль нас высадили. Первый раз мы с Диной ехали на телеге. Одна другую успокаивали, что приедем и сразу напишем домой. Я говорила: «Если дом не разбомбят, то родители получат наши письма, а если разбомбят, то куда же мы напишем?» Мама моя была главврачом детской больницы, а папа — директором ремесленного училища. Папа мой был человек мирный, облик у него весь учительский, когда он первый раз пришел с работы с пистолетом (им выдали пистолеты), он надел его с кобурой на штатский пиджак, я испугалась. Он, мне кажется, тоже его боялся, осторожно снимал вечером и клал на стол. Жили мы в большом доме, но военных в нем не было, я раньше никогда не видела оружия. Мне казалось, что пистолет сам начнет стрелять, что в нашем доме уже живет война. Вот снимет папа пистолет, тогда война кончится.

Были мы с Диной девочки городские, ничего не умели делать. Мы приехали, а на другой день нас послали на работу в поле, целый день простояли согнувшись. У меня закружилась голова, и я упала. Дина надо мной плакала, а помочь не умела. Было стыдно, что местные девочки нормы выполняют, мы дойдем до половины поля, а ни уже где-то далеко. Самое ужасное, когда меня послали доить корову, которую я никогда не доила и боялась к ней подступиться.

Однажды кто-то приехал со станции и привез газеты. Там мы прочли, что Гомель взят, очень плакали с Диной. Раз Гомель взят, значит, погибли наши родители, а нам надо идти в детдом. О детдоме я не хотела слышать, думала искать брата. Но за нами приехали родители Дины, каким-то чудом они нас разыскали. Отец ее работал главврачом в городе Саракташе Чкаловской области. На территории больницы была небольшая хатка, и там мы жили. Спали на деревянных нарах из досок, матрац набили соломой. Очень мучили меня мои длинные косы, ниже коленей. Обрезать косы я не могла бе маминого разрешения. У меня была надежда, что мама все-таки есть, она найдет меня. А мама любила мои косы и будет меня ругать, если я их обрежу.

И вот в тот день на рассвете раздался стук в окно, я поднялась: стоит моя мама. А я не верю, мне думается, что это сон. Первое, что она сделала, стала натирать мне голову настойкой от вшей и обрезала косы.

Мама узнала, что папино училище эвакуировали в Новосибирск, и мы поехали с ней к папе. Там я стала ходить в школу. С утра мы учились, а после обеда ходили помогать в госпиталь, в городе было много раненых, с фронта их отправляли в тыл. Приняли нас санитарками, я оказалась в хирургии, это было очень тяжелое отделение. Давали нам старые простыни. мы рвали их на бинты, скручивали, затем закладывали в боксы и возили на стерилизацию. Стирали старые бинты, но иногда с фронта привозили такие бинты, что выносили их корзинами и закапывали во дворе.

Росла я в семье врача и до войны мечтала, что обязательно буду врачом. В хирургию — так в хирургию. Другие девочки боялись, а мне было все равно, только бы помогать, быть нужной. Кончатся уроки, бежим скорее в госпиталь, чтобы не опоздать, прийти вовремя. Помню, что я несколько раз падала в обморок. Открывают раны, все прилипшее, раненые кричат… Мы вносили их в операционную и выносили на носилках. Несколько раз у меня начиналась тошнота от запаха бинтов, бинты очень пахло, не лекарством, а гнилью какой-то, смертью. Я уже знала запах смерти. Многие девочки уходили, не могли этого перенести. Они шили перчатки для фронта, кто умел — вязал. А я не могла уйти и госпиталя, как я уйду, если все знают, что мама моя врач.

Но я очень плакала, когда раненые умирали. Они умирают, зовут: «Доктор! Доктор! Быстрее!» Он прибежит, а спасти не может, в хирургии раненые тяжелые. Помню одного лейтенанта, в форме, когда показывал нам свои фотографии, — серьезный, а в больничном халате — мальчик. Он попросил у меня грелку, положила ему грелку, он схватил меня за руку, а я не могу ее отнять. Он ее к себе прижимает. Я слышала своей рукой, как у него остановилось сердце. Билось, билось и остановилось. Как меня вывели оттуда, не помню. Долго в руке ощущала удары сердца, последний удар…

## «А я все кричала, не могла остановиться…»

Вера Барташевич — 8 лет.

Сейчас — копировщица.

Живет в Минске.

…В сорок третьем году брат Николай ушел в партизаны. Для нас это было очень опасно. Я помню, как мы с мамой долго не ночевали дома, а ходили спать в колхозное овощехранилище. Наш дом был крайний со стороны Минска, и, когда возвращались домой, мама топила печь, а мы с братом стояли у стены дома и смотрели на дороги, ведущие из Минска (их было две), чтобы в случае опасности предупредить маму и убежать. Один раз убежать не успели, в дом ворвались немцы. Мама стояла у кровати, и старший, наставив на маму пистолет, кричал: «Где партизаны?» Я очень испугалась и начала кричать так, как говорят, кричит не своим голосом. Маму погнали на улицу. А я все кричала и не могла остановиться и тогда, когда мама вернулась.

Очень долго, и даже сейчас, меня преследует желание спрятаться, когда я бываю в деревне вечером и слышу, как где-то гудит машина. Я ненавижу войну, три моих брата остались на войне…

## «…Пахал, пахал и свалился»

***Николай Редькин — 11 лет.***

***Сейчас — механик.***

***Живет в Краснодаре.***

…Троих старших братьев сразу призвали в армию. Сестра Вера ходила в военкомат и в марте сорок второго тоже ушла на фронт. Остались дома только я и младшая сестренка.

Жили мы у родственников в Орловской области. Я пошел в колхоз, мужчин не было, всю мужскую работу делали подростки. Поехал первый раз пахать. Женщины стали возле своих коней и погнали. Стою, жду, что кто-то придет и меня научит, а они одну борозду прошли, на вторую повернули. Что мне делать? Я давай сам, где возле борозды, где по ней, так и прогнал. Один день: поднялся рассвет, мы уже в поле, ночью коней пасем, другой… На трретий пахал, пахал и свалился.

В сорок четвертом сестра Вера на один день заехала к нам. Утром ее увезли к станции на телеге, а я пешком убежал за ней. На вокзале солдат не пропускал меня в вагон: «Ты с кем, мальчик?» Я не растерялся: «Со старшим сержантом Верой Редькиной»…

## «В ту сторону, откуда восходит солнце…»

***Валя Кожановская — 11 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в поселке Михановичи Минского района.***

Дом наш стоял недалеко от военного госпиталя. Госпиталь бомбили, я видела, как из окон падали раненые с костылями. Загорелся наш дом. мама вскочила в огонь: «У меня растут дочки, я вернусь в дом и возьму деткам одежду».

Горел наш Минск… Горел наш дом… Горела наша мама… Мы кинулись за ней, люди догнали нас, держали: «Детки, маму уже не спасете». Куда бежали все, туда и мы. Лежат мертвые… Стонут, просят помощи раненые. Ну, кто поможет? Мне — одиннадцать лет, сестре — девять. Мы с ней потерялись…

Встретились в детдоме Острошицкого Городка под Минском, а в Минске уже были немцы. За год до войны нас сюда привозил отец в пионерский лагерь. Сколько рыданий, сколько слез, что остались без родителей, что сгорел наш дом. В детдоме мы пробыли год, а может, меньше, теперь трудно вспомнить. Стали нас отбирать для вывоза в Германию. Отирали не по годам, а по росту, и я, к несчастью, была высокого роста, как отец, а сестренка, как мать, маленького. Подошли машины, вокруг немцы с автоматами, меня загнали на машину с соломой, сестра кричит, ее отталкивают, под ноги стреляют. И так нас разлучили.

Прижавшись друг к другу, сидел мы в вагоне, дрожали. Полный вагон деток, не было никого старше тринадцать лет. Первый раз остановились в Варшаве. Никто нас не поил и не кормил, только какой-то старичок зашел с полными карманами свернутых бумажек, на которых по-русски была написана молитва «Отче наш», и дал каждому такую бумажку.

После Варшавы ехали еще два дня. Привезли на санитарный, видимо, пункт. Раздели всех догола, вместе и мальчиков, и девочек, я плакала от стыда. Девочки хотели в одну сторону, мальчики в другую, нас сбили в одну кучу, наставили шланг с каким-то специфическим запахом, никогда больше не слышала его, не знаю, что это было за дезинфицирующее средство. Не смотрели: глаза не глаза, рот не рот, уши не уши, — сделали санобработку. Затем дали надеть полосатые брюки и пиджаки типа пижам, на ноги — деревянные сандалии, а на грудь прикололи железные бирки «Ost».

Выгнали на улицу и построили, как на линейку. Я думала, что нас куда-то поведут, в какой-нибудь лагерь, а сзади шепчут: «Нас продавать будут». Подошел старый немец, отобрал вместе со мной еще трех девочек, отдал деньги и показывает на телегу с соломой: «Садитесь!»

Имение называлось, если перевести на русский язык, «зеленый двор». Поместили нас в сарае, на одной половине жило двенадцать собак, на другой мы. Сразу же на работу в поле — собирать камни, чтобы плуги, сеялки не ломались. Камни надо было укладывать ровненько, в одном месте. Положишь не так, немец бежит: «Некрасиво». А мы в этих деревянных сандалиях, мозоли осыпали все ноги. Кормили плохим хлебом и снятым молоком.

Одна девочка не выдержала, умерла. Ее на лошадях увезли в лес и прямо так, без ничего, закопали. Деревянные кандалы и полосатую пижаму привезли в имение. Помню, что звали ее Оля.

Был там старый- старый немец, кормил собак. Он очень плохо говорил по-русски, но очень старался нам объяснить: «Киндэр, Гитлер капут. Русский ком». Пойдет в курятник, наворует в шапку яиц и спрячет в свой ящик с инструментами — он еще плотничал по имению. Возьмет в руки топор и идет будто бы работать, а сам поставит ящик возле нас и смотрит по сторонам, машет руками, чтобы быстрее кушали. Яйца выпьем, а скорлупки закопаем.

В один день нас позвали два серба, которые работали в этом имении, и говорят: «Надо бежать, а то все умрем, как Оля. Закопают в лесу, а деревяшки наши и пижамы назад привезут». За имением было болото, мы туда пошли, а потом побежали. Бежали в ту сторону, откуда восходит солнце, на восток.

Вечером в кустарнике свалились все и уснули, усталые. Утром открыли глаза — тишина, одни жабы квакают. Встали, росой умылись и пошли. Прошли совсем немного и увидели впереди дорогу шоссейную, надо ее перейти, напротив густой и красивый лес. Наше спасение. Один серб подполз, осмотрел шоссе и позвал нас: «Бегом!» Мы — на дорогу, а из лесу к нам навстречу немецкая машина с автоматчиками. Окружили нас и стали бить сербов, топтать.

В машину их бросили мертвых. а нас с девочкой посадили рядом. Сказали, что им хорошо, а вам еще лучше будет, русские свиньи. По биркам они узнали, что мы восточные. У нас уже такой страх был, что мы даже не плакали.

Привезли в концлагерь. Там мы увидели: на соломе сидят детки, а по ним ползают вши. Солому возили с полей, которые начинались сразу за колючей проволокой с током.

Каждое утро стучал железный засов, входили смеющиеся офицер и красивая женщина, она по-русски нам говорила:

— Кто хочет каши, быстро становитесь по двое в ряд. Поведем вас кормить…

Они шутили, смеялись. Дети спотыкались, толкались, каши хотели все.

— Над только двадцать пять человек, — пересчитывала женщина. — Не ссорьтесь, остальные подождите до завтра.

Я вначале верила, вместе со всеми бежала, толкалась, а потом стала бояться: «Почему не возвращаются те, которых уводят кормить кашей?» Садилась под самую железную дверь при входе, и, когда нас уже было мало, женщина все равно меня не замечала. Она всегда стояла и считала ко мне спиной. Как долго это продолжалось, не скажу. Детская память не точная, она запоминает только страх или только хорошее.

Слышим однажды: шум, крик, стрельба. Стучит железный засов — в барак к нам врываются родные солдаты с криком: «Детушки!» Берут нас на плечи, на руки по нескольку человек. Целуют, обнимают и плачут, что мы такие легкие, что у нас одни косточки. Выносят на улицу, и мы видим черную трубу крематория.

Несколько недель нас лечили, кормили. Когда окрепли, повезли в ту сторону, откуда восходит солнце. Домой…

## «Белая рубашка в темноте далеко светится…»

***Ефим Фридлянд — 9 лет.***

***Сейчас — заместитель директора комбината силикатных изделий.***

***Живет в Минске.***

Ребенком я себя не помню. Началась война, кончились детские капризы. Все, что я помню о войне, это не детские воспоминания, я чувствовал себя взрослым человеком. Боялся по-взрослому, что убьют, понимал, что такое смерть, делал взрослую работу, думал по-взрослому. И к нам никто как к детям не относился в той обстановке.

То, что было до войны забылось. Помню, что до войны я боялся один оставаться в квартире, а тут страх прошел. Ни в каких маминых домовых, которые сидят за печкой, я уже не верил, да и она их не вспоминала. Уезжали из Хотимска на подводе, мама купила корзину яблок, поставила возле нас с сестрой, и мы ели. Началась бомбежка, у сестрички в руках два красивых яблока, мы стали из-за них драться, она не отдавала. Мама ругается: «Прячьтесь!» — а мы делим яблоки. Дрались, пока я не попросил сестру: «Дай мне хотя бы одно яблоко, а то убьют нас, и не попробую». Она отдала одно, самое красивое. И тут бомбежка кончилась. Я не стал есть счастливое яблоко.

Испугались, когда увидели мертвых. Вот это был настоящих страх. Было страшно и непонятно, потому что раньше я думал, что умирают только старые люди, а дети не умирают, пока из них не получатся старики. Кто мне это внушил откуда было такое понятие? Припоминаю, что перед войной умер по соседству дедушка моего друга, другой довоенной смерти нет в памяти. Когда на дорогах лежали мертвые, я боялся и в то же время заглядывал из-за маминого плеча: кто лежит? Пугался, когда видел убитых детей, страх был одновременно и детский, и взрослый. С одной стороны, я по-взрослому понимал, что меня могут убить, а с другой — по-детски был в панике: как это меня могут убить? Где я потом буду?

Ехали на подводе, а впереди нас шло стадо. От отца (до войны он был в Хотимске директором «Заготскота») мы знали, что это не обычные коровы, а племстадо, которое за большие деньги купили за границей. Помню, как отец не мог мне объяснить, сколько это — большие деньги, пока не привел пример, что каждая корова стоит как танк. Раз танк, значит, очень много. Берегли каждую корову.

Поскольку рос я в семье зоотехника животных любил. Когда после очередной бомбежки остались мы без телеги, я шел впереди стада, привязавшись к быку Ваське. У него в носу было кольцо, за кольцо привязана веревка, а концом веревки я себя привязывал. Коровы долго не могли привыкнуть к бомбежке, они были тяжелые, не приспособленные к большим переходам, у них закручивались копыта, они страшно уставали. После обстрела их трудно было собрать. Но, если выходил на дорогу бык, они все шли за ним. А бык слушался одного меня.

Мать ночью выстирает где-нибудь мою бедую рубашку, на рассвете: «Подъем!» — кричит старший лейтенант Турчин, который возглавлял обоз. Надеваю рубашку, беру быка, и идем. Вот помню, что все время был в белой рубашке. В темноте она светится, далеко всем меня видно. Спал рядом с быком, под его передними ногами, — так было теплее. Васька никогда не вставал первым, ждал, когда я встану. Чувствовал, что рядом с ним ребенок, он может причинить боль. Я ложился с ним и никогда не волновался.

Пешком дошли до Тулы. Людей оставалось мало, у коров раздувалось вымя, не успевали их выдаивать. Вымя болит, корова становится возле тебя и смотрит. У меня сводило руки, в день отдаивали по пятнадцать-двадцать коров. Как сейчас вижу: лежит на дороге корова с перебитой задней ногой, из посиневшего вымени капает молоко. Она смотрит на людей, и кажется, что плачет. Солдаты увидели — за автоматы: пристрелить. Я попросил их: «Подождите…»

Подхожу и сдаиваю на землю молоко. Корова благодарно лижет мне плечо. «Ну, — поднимаюсь, — теперь стреляйте…» А сам убегаю, чтобы не видеть.

В Туле узнали, что весь пригнанный нами племенной скот пойдет на мясокомбинат, девать его больше некуда. К городу подходили немцы. Я надел белую рубашку и пошел прощаться к Ваське. Бык тяжело дышал мне в лицо…

…В мае срок пятого возвращались домой. Подъезжали к Орше, в этот момент я стоял у окна, за спиной, чувствовал, стояла мама. Открыл окно. Мама говорит: «Ты слышишь запах наших болот?» Я плакал редко, а тут заревел. В эвакуации мне даже во сне снилось, как косят болотное сено, как собирают его в стожки и как оно, немного подсохнув, провялившись, пахнет. Нигде не повторяющийся родной запах болотного сена. Мне кажется, что только у нас, в Белоруссии, запах этого болотного сена, он преследовал меня всюду.

В день Победы выбежал на улицу сосед дядя Коля и стал стрелять вверх. Мальчишки окружили его:

— Дядя Коля, дайте я!

— Дядя Коля, дайте я…

Он давал всем. И я выстрелил первый раз…

## «…рядом спала я и обнимала ее, мертвую»

***Маша Иванова — 8 лет.***

***Сейчас — учительница.***

***Живет в деревне Прудок Шумячского района Смоленской области.***

Мой отец пришел на костылях с гражданской войны. Но возглавил колхоз, хозяйство у него было передовое. Когда я научилась читать, он показывал мне вырезки из газеты «Правда», где писалось о нашем колхозе. Как лучшего председателя, отца перед войной посылали на областной съезд колхозников-ударников и на сельскохозяйственную выставку в Москву.

Запомнились песни, с работы люди возвращались с песнями. Солнце подбирается к горизонту, а из-под горы протяжно и ласково поднимается:

Закатилось ясно солнышко

за дубровку-у-у…

Время; девочки,

пойдем дворку-у-у…

Я бегу навстречу песне — там мама моя, я слышу ее голос. Мама подхватывает меня на руки, обнимаю ее крепко за шею, спрыгиваю и бегу впереди, а песня догоняет, она заполняет весь мир вокруг — и так весело и хорошо.

После такого счастливого детства я сразу увидела смерть…

Началась война. Отец остался на оккупированной территории по заданию партии. Дома он не жил, его у нас знали все. Фашистов я увидела, когда ночью, взломав дверь, ворвались они в нашу хату. Проснулась о страшного крика, глаза открыть не могла, в лицо бил яркий и резкий свет. Полураздетых, под автоматами и слепящими фонарями поставили нас в ряд и стали делать обыск. Штыками сдирали обои, поднимали пол, ломали потолок, заглядывали в печь, разбросали одежду.

Отец к нам приходил только ночью. Однажды услышала:

— Подорвали немецкую машину на…

Я закашляла на печи, родители поняли. что я все слышала.

— Об этом никому нельзя говорит, доченька, — сказал отец.

Еще не раз мне приходилось слышать то, что «никому нельзя говорить». Это было нелегко. Я стала бояться людей. А вдруг они догадаются, что я знаю то, что «никому нельзя говорить». Если ночью мы слышали стук в дверь, не тот осторожный, о котором условились с отцом, а другой, у меня начинало дрожать сердце — это фашисты или полицейские, опять будут допытываться об отце. Я забираюсь в самый темный угол на нашей большой печке, обнимаю бабушку, боюсь уснуть, часто просыпаюсь. В трубе воет вьюга, вьюшка дрожит и позванивает. Слушаю вьюгу и тихонько про себя напеваю, а давно не пела:

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя…

Мне начинает казаться, что это не буря воет, а плачет мама. У меня горячка. Тиф.

Поздно ночью пришел отец. Первой услышала его я и позвала бабушку. Мама с братом прятались у соседей, ночью мы с бабушкой оставались вдвоем. Отец был холодный, а я пылала жаром, он сидел возле меня и не мог уйти. Был усталый, постаревший, но такой свой, такой родной. Через несколько часов, как он пришел, в дверь постучали. Отец даже кожух не успел накинуть, в дом вломились каратели. Вытолкнули его на улицу, он протянул ко мне руки, но его ударили и оттолкнули. Босиком я бежала за ним по снегу до самой речки и кричала: «Папочка, папочка…» Дома причитала бабушка: «А где же бог, куда он прячется?»

Она не смогла пережить такое горе. Плакала все тише и тише и через две недели умерла ночью на печке, а рядом спала я и обнимала ее, мертвую. В доме никого больше не было.

После папиной смерти мама тоже стала совсем другая. Из дому никуда не уходила, казалось, она искала случая умереть. Говорила только о папе, в работе быстро уставала, а до войны была стахановкой, везде самой первой. Меня она не замечала, а я все время старалась попасть ей на глаза. Но глаза ее оживали только тогда, когда мы вспоминали папу.

…Помню, как прибежали счастливые бабы:

— Из соседней деревни прискакал на лошади хлопчик — говорит, что война кончилась. Сказали в районе, что скоро наши мужики станут возвращаться.

Мама упала на чистый пол, который я только вымыла…

## «Я видел…»

***Юра Карпович — 8 лет.***

***Сейчас — шофер.***

***Живет в поселке Зеречный Есильского района Тургайской области.***

…Я видел, как гнали через нашу деревню колонну военнопленных. Там, где они остановились, была обгрызена кора с деревьев. А тех, кто нагибался к земле, чтобы сорвать зеленой травы, расстреливали. Это было весной…

Я видел, как ночью пошел под откос немецкий эшелон, а утром положили на рельсы всех тех, кто работал на железной дороге, и пустили паровоз…

Я видел, как запрягали в брички людей с желтыми кругами на шее вместо хомутов и катались на них. Как их расстреливали с этими же желтыми кругами на шее...

Я видел, как у матерей штыками выбивали из рук детей и бросали в огонь…

Я видел, как плакала кошка. Она сидела на головешках сожженного дома, и только хвост у нее остался белый, а вся она была черная. Она хотела умыться и не могла, мне казалось, что шкурка на ней хрустела, как сухой лист.

Вот почему мы не всегда понимаем наших детей, а они не понимают нас. Мы — другие люди. Забуду, живу, как все. А иногда проснешься ночью, вспомнишь — и кричать хочется…

## «А белый свет — ненаглядный…»

***Людмила Никанорова — 12 лет.***

***Сейчас — инженер.***

***Живет в городе Пушкино Московской области.***

У меня где-то лежат заветные тетрадочки со стихами. Никто, кроме мамы, и не читал их. В детстве меня что-то озаряло, и я писала стихи, до тех пор, пока не встретила по-настоящему одаренных мальчиков в своей школе после войны в Орше).

Вы спросили, и я тоже задумалась: а что осталось во мне от той девочки, писавшей стихи, через сорок лет? И второй вопрос: а что интересного в жизни обыкновенной девочки? Летом одна серьезная на вид студентка в Волгограде сказала мне, туристам с теплохода: «Я родилась после войны в Волгограде. И все никак не побываю на Мамаевом кургане». Может быть, это только наше?

…До войны мы жили в Воронеже. В школах много учителей из старой интеллигенции. Высокая музыкальная культура. Детский хор нашей школы, где я тоже пела, имел большую популярность в городе. По-моему, все любили театр.

Наш дом заселен семьями военных. Дом четырехэтажный с коридорной системой, во дворе летом цветет душистая акация. В скверике перед домом прошло много детских часов. Мне очень повезло с родителями. Папа — кадровый военный. Военная форма все детство у меня перед глазами. У мамы — мягкий характер, золотые руки. Я — единственная дочь. Как и полагается в таком случае, я настойчивая, капризная и застенчивая одновременно. Занимаюсь музыкой и хореографией при Доме Красной Армии. По воскресеньям, единственный день, когда он не занят, папа любил с нами гулять по городу. Нам с мамой нужно было идти слева, так как папа то и дело приветствовал встречных военных. Еще он любил читать со мной стихи, особенно Пушкина:

Учись, мой сын, наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни…

Говорили ли о войне? Знали о ней из воспоминаний папы о гражданской войне, где он был ранен. По радиол пели песни: «Если завтра война» и «Броня крепка и танки наши быстры». Детям можно было спокойно засыпать.

Июнь. Солнечно. Воскресный день. Я в красивом платьице пришла с подругой в сад Дома Красной Армии на спектакль, начало которого назначено на двенадцать часов дня. Видим: все слушают репродуктор, укрепленный на столбе. Лица растеряны. А кругом солнце, листья деревьев очень красивы.

— Слышишь, война! — говорит подруга.

Мчусь домой. Рванула дверь. В квартире тихо, мамы дома нет, папа сосредоточенно бреется перед зеркалом, одна щека в мыльной пене.

— Папа, война!

Папа повернулся ко мне и продолжает бриться. Я увидела его глаза с незнакомым мне выражением. Помню, что репродуктор на стене был выключен. Это все, что он мог сделать, чтобы оттянуть для нас с мамой момент страшного известия.

Жизнь мгновенно изменилась. Я совсем не помню папу дома в эти дни. Стал другим быт. Проводились общие собрания жильцов, наклеивали белые кресты на окна, завешивали окна на ночь — город должен быть без огней. Исчезли с прилавков продукты, появились продуктовые карточки.

И вот настал тот последний вечер. Он был совсем не таким, как я теперь вижу в кино: слезы, объятия, впрыгивание в поезд на ходу. У нас этого не было. Все шло так как. как будто папа собирается на маневры. Мама сложила его вещи, уже пришит воротничок, петлицы полевые, проверены пуговицы, носки, платки. Папа скатывает шинель, кажется, я ее придерживала.

В коридор вышли все втроем. Час был поздний, к этому времени в доме закрывались все двери, кроме парадной, и, чтобы выйти во двор, нам пришлось с первого этажа подняться на второй, пройти длинным коридором и вновь спуститься. На улице темно, и наш всегда внимательный папа сказал:

— Дальше меня провожать не надо.

Обнял нас:

— Все будет хорошо. Не волнуйтесь.

И ушел.

С фронта он прислал несколько писем: «Скоро победим, тогда заживем по-другому. Как ведет себя Людмилочка?» Не могу вспомнить, чем была занята я до первого сентября. Доставляла маме огорчения тем, что, не спросясь, уходила надолго к подругам. Стала обычной, если так можно сказать, воздушная тревога. Убегали в бомбоубежище. Сидели по домам. Меня не раз заставала она на улицах в центре. Вбегали в магазин и все. Страха за собой не помню. Появились эвакуированные, беженцы. Слушали их. Мама дежурила в госпитале. Прибывали поезда с ранеными.

Что удивительно — на прилавках стало больше товаров, люди их покупали. Несколько дней мы с мамой решали: не купить ли новое пианино? Решили пока не покупать, подождать папу. Все-таки очень большая покупка.

Уму непостижимо, но мы начали учебу, как обычно, первого сентября. А от папы весь август — ни слова. Верим и ждем, хотя знаем уже такие слова, как «окружение» и «партизаны». В конце месяца объявили: быть готовыми в любой день к эвакуации. Точный день узнали, кажется, за сутки. Мамам досталось. Все равно были убеждены, что уезжаем на пару месяцев, пересидим где-то в Саратове и вернемся. Узел — постель, узел — посуда и чемодан с одеждой. Мы готовы.

В пути запомнила такую картину — без свиста состав наш отходит, хватаем кастрюли с костров, нет времени их погасить: едем — и вдоль насыпи цепочки огоньков. Эшелон дошел до Алма-Аты, затем возвратился в Чимкент. На медлительных волах, впряженных в мажары (возы), въехали мы в аул. Увидели кибитку. И все прочее, как в восточной сказке. Если бы не мамины черные, потрескавшиеся руки и не мамина седина. Когда я увидела у мамы первый седой волос, я плакала. Мамину руки! Я не знаю, чего они не умели. Как у мамы хватило догадки взять в последний момент швейную машинку (без крышки, но в подушке) и бросить в отъезжавшую к эшелону машину. Машинка — наша кормилица. По ночам мама ухитрялась шить. Спала ли моя мама?

А на горизонте снежные отроги Тянь-Шаня, а весной — степь, красная от тюльпанов, а осень — гроздья винограда и дыни (но как это купить?!). И война! Мы искали нашего папочку! За три года написали три десятка запросов: штаб армии, полевая почта номер сто шестнадцать, наркомат обороны, ГУК главное управление кадров Красной Армии в Бугуруслане… Отовсюду приходил ответ: «В списках убитых, раненых не значится…» Раз не значит — ждем и ждем, надеемся.

Радиол стало приносить радостные вести. Наши войска освобождают один город за другим. Вот и Орша освобождена. Это родина мамы. Там бабушка, мамины сестры. Освобожден и Воронеж. Но Воронеж без папы чужой. Списались и едем к бабушке. Ехали всюду в тамбуре — надо было суметь войти в вагон.

Мое любимое место в бабушкином доме — за теплой русской печкой. В школе сидим в пальто, у многих девочек пальто сшито из шинели, у мальчиков просто шинели. Утром ранним слышу из репродуктора: победа! Мне пятнадцать лет. Я надеваю предвоенный подарок папы — шерстяную (гарусную) кофточку и новенькие туфли на каблуках и иду в школу. Мы сберегли эти вещи, они были приобретены на вырост, вот я и доросла.

Вечером сидим за столом, на столе с нами папина фотокарточка и томик Пушкина с истлевшими краями страниц, выпадающих из переплета. Это его подарок невесте — маме. Я вспоминаю, как мы с папой читали вместе стихи и как он, когда ему что-нибудь особенно нравилось, говорил: «А белый свет ненаглядный». Такого живого и любимого папу я не могу представить не живым…

## «Приносили длинные узкие конфеты…»

***Леонида Белая — 3 года.***

***Сейчас — гладильщица.***

***Живет в Минске.***

Сама сейчас не верю, что три годика было ребенку и он все помнит. Нет, не все, конечно. Но три-четыре картинки запомнила совершенно отчетливо, как взрослый человек.

…За хатой на лугу какие-то дяди занимаются гимнастикой, купаются в речке. Брызгают, кричат, смеются, бегают один за одним, как наши деревенские мальчишки. Только к тем мама меня пускала посмотреть, а здесь ругается и не разрешает выходить из хаты. На мой вопрос: «Кто эти дяди?» — испуганно отвечает: «Немцы». Другие дети бегали туда и приносили длинные узкие конфеты. Угощают меня.

…Куда-то бежим… Роса холодная. У бабушки мокрая юбка до пояса, а у меня и платье мокрое и головка. В лесу прячемся, я сохну в бабушкином пиджаке, платье сушится.

Возвращаемся в деревню. Что-то видем в черных головешках. Там, где жили наши соседи, находим гребешок. Я узнаю этот гребешок, соседская девочка меня им расчесывала. Мама не может мне ответить, где она и где ее мама. Моя мама плачет. А я помню, как эта девочка приносила мне от дядей, которые весело купались в речке, длинные узкие конфеты…

Тогда эти картинки только запомнила, соединились они в сознании потом. Бабушки нету, мамы нету, только я могу об этом сегодня рассказать.

## «Сундук был как раз ему по росту…»

***Дуня Голубева — 11 лет.***

***Сейчас — доярка.***

***Живет в деревне Прудок Чаусского района Могилевской области.***

…Мама, сестра и брат поехали на поле. Лен сеяли… Они поехали, а через час, больше не прошло, бегут женщины:

— Твоих, Дуня, постреляли. На поле лежат…

У мамы зернятки из кулака сыпались, так пальцы сощепила, что не могли разжать. С зернятками и похоронили. Осталась я одна с маленькими. У сестры муж в партизанах был, она родила этого маленького… Шесть месяцев ему…

Осталась одна, а корову доить не умею. Она ревет в хлеву, глядит на малого и ревет, чувствует. что хозяйки нет.

Ночью маленький ко мне лезет… Грудь просит… Молока… Оттяну ему шкурочку, цокает, цокает и заснет. Где он простудился? Как заболел? Сама малая, что я понимала. Кашляет, кашляет, и есть нет чего. Коровку у нас уже немцы забрали.

Умер. Стонал-стонал и умер. Слышу: тихо стало. Подняла тряпочки, он черный лежит, сгорел, только личико белое, чистое осталось. Хорошее личико, а сам весь черный.

Ночь. Куда я пойду? Буду ждать утра, утром людей позову. Сижу и плачу, что никого в хате нет, даже этого маленького мальчика. Стало днеть, положила я его в сундук… Боялась, что придут коты или крысы, обгрызут, он такой маленький стал, еще меньше, чем живой. Сундук был как раз ему по росту…

## «Боялась увидеть этот сон…»

***Лена Старовойтова — 5 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Минске.***

…Мама надела зеленое пальто, сапоги, завернула в теплое одеяло шестимесячную сестренку. Я сидела и глядел а в окно, когда она вернется. Вдруг вижу: ведут по дороге несколько человек, среди них моя мама с сестренкой. Около нашего дома мама повернула голову и посмотрела в окно. Фашист ударил ее прикладом по лицу.

Вечером пришла тетя, мамина сестра, она очень плакала, она рвала на себе волосы, а меня называла: сиротинушка, сиротиночка. Таких слов я не знала. Ночью мне приснился сон, будто мама топит печь, огонь ярко горит и плачет моя сестренка. Если я бывала теперь с ними, то только ночью. Мне снился этот сон, рассказывала тетя, два месяца. Я так как плакала, что вечером не хотела ложиться спать, боялась увидеть этот сон. И хотела его увидеть.

Я и теперь боюсь его увидеть и хочу его увидеть. У меня даже фотокарточки маминой нет. Только этот сон… Только там я могу на нее посмотреть… И на сестренку…

## «Я хотела быть одна у мамы…»

***Мария Пузан — 7 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Бресте.***

…Выгнали из сарая колхозных коров, а туда затолкали людей. И нашу маму. Мы с братиком сидели в кустах, ему два годика, он не плакал.

Утром пришли домой, дом стоит, а мамы нет. И людей никого нету. Одни мы остались. Я иду за водой, надо печь топить, братик кушать просить. На колодезном журавле висели наши соседи. Повернула в другой конец деревни, там криничный колодец был, самая лучшая вода у нас. И там люди висят. С пустыми ведрами вернулась. Братик плакал, потому что голодные: «Дай корочку». Один раз я его укусила, чтобы не плакал.

Так мы жили несколько дней. Одни в деревне. Люди лежали или висели мертвые. Мы мертвых не боялись, это все были знакомые люди. Потом встретили чужую женщину, начали плакать: «Будем с вами жить. Одним страшно». Она посадила нас на саночки и повезла в свою деревню. У нее было двое мальчиков и нас двое. Жили так, пока не пришли наши солдаты.

…В детдоме мне подарили оранжевое платье, вверху карманчики. Так любила его, что всех просила: «Если умру, похороните в этом платье». Мама умерла, папа умер, и я скоро умру. Долго-долго ждала, когда умру. Всегда плакала, когда слышала слово «мама». Однажды меня за что-то отругали и поставили в угол, я убежала из детдома. Мне было обидно, что у меня нет мамы и все меня ругают.

День рождения свой я не помнила. Сказали, что выбери сама любой день, какой хочешь. А я очень любила майские праздники. «Но, — думаю, — никто не поверит, если скажу, что я родилась Первого мая, и второго — не поверят, а если скажу — третьего мая, то это будет похоже на правду». Именинников объединяли по кварталу, делали нам праздничный сто с конфетами и чаем, дарили подарки — девочкам что-нибудь на платье, мальчикам — сорочки. Один раз в детдом пришел незнакомый дедушка и принес много вареных яиц, раздавал всем и так радовался, что делает нам приятное.

Я уже была большая, о скучала, что нет игрушек. Когда ложилась спать и все засыпали, вытягивала из подушки перышки и рассматривала их. Это была моя любимая игра. Когда болела, а болела я часто, война из мня вылезала, она вылезает из меня всю жизнь, лежала и мечтала о маме. Я хотела быть одна у мамы и чтобы мама меня баловала…

## «Мама, наши люди висят в небе…»

***Петр Калиновский — 12 лет.***

***Сейчас — инженер-строитель.***

***Живет в Минске.***

Из детства больше всего помню, что очень гордился своим отцом, он был участником революции, красногвардейцем. До войны я окончил пять классов, любил книги о гражданской войне и приключенческую литературу. Любимые герои, конечно, Чапаев и Павка Корчагин, как и у всего поколения довоенных мальчишек. Довоенные мальчишки, мы — что-то одно, я это кожей чувствую. Война отрезала нас от всех других мальчишек на свете.

Когда отец уходил в партизаны, сказал, что возьмет меня с собой. Мама плакала: я хорошо учился, был одаренный мальчик, она боялась, что меня убьют. В детстве я сам сочинял сказки, в пять лет научился читать. Мама хотела сделать из меня, по-моему, артиста, а моя мечта была научиться летать, надеть форму летчика. И в этом ведь тоже наше время. Я, например, не встречал до войны мальчишку, который бы не мечтал стать летчиком или моряком. Теперь можно услышать от детей: «Хочу быть парикмахером», «Хочу быть контролером», а нам надо было или небо, или море. И вот деталь. Когда я увидел первых повешенных наших людей, я прибежал домой: «Мама, наши люди висят в небе». Впервые я испугался неба, у меня после этого случая изменилось отношение к небу. Я стал настороженно к нему относиться. Мне запомнилось, что люди висели очень высоко, а может. мне так показалось из страха. Видел же я убитых людей на земле? Но так не пугался…

…Прошли через бурелом один пост, второй. И вдруг слышим: на весь лес наши, русские, песни поют. Потом вдруг слышу голос Руслановой. В отряде был патефон и три или четыре пластиночки, заигранные до основания. Стоял ошеломленный и не верил, что я в партизанах, что здесь поют песни. Два года я жил в городе, в который пришли немцы, я забыл, как люди поют. Я видел, как ни умирали. И как они убивали. Другого я не видел.

В сорок четвертом году участвовал в минском параде партизан. Живой остался… Шел крайним в правой шеренге, меня поставили так, чтобы я увидел трибуну. «Ты еще не вырос, — говорили партизаны, — среди нас затеряешься и ничего не увидишь, а тебе надо этот день запомнить…»

## «А они не тонули, как мячики…»

***Валя Юркевич — 7 лет.***

***Сейчас — учительница.***

***Живет в Минске.***

…В детстве я была больше мальчиком, в семье, видно, очень хотели мальчика, а родилась девочка. Родители одевали меня в мальчиковую одежду и подстригали, как мальчика. Игры мне тоже нравились больше мальчишеские, в «казаков-разбойников» играла, «в войну». Я считала, что я смелая.

Кажется, под Смоленском наш вагон с эвакуированными разбомбили полностью. Мы как-то уцелели, нас вытащили из-под обломков. Добрались до деревни, а там начался бой. Сидели у хозяйки в подвале, обвалился дом, нас засыпало. Когда бой утих, кое-как выползли из подвала, и первое, что я помню, — это машины. Шли легковые машины, а в них сидели улыбающиеся, в черных блестящих плащах люди. Я не могу передать этого чувства, был страх, и был какой-то болезненный интерес. Они проехали по деревне и скрылись. Мы, дети, пошли смотреть, что происходит за деревней. Когда мы вышли в поле, это было что-то страшное. Все ржаное поле было усеяно убитыми. Наверное, я имела не девчоночий характер, потому что не боялась смотреть на все это, хотя видела впервые. Они лежали черные. Было их так как много, что не верилось, что это люди лежат. Это было мое первое впечатление от войны, эти погибшие люди.

Вернулись с мамой в Витебск. Дом наш разбили, и приютила нас еврейская семья, двое очень больных и очень добрых стариков. Мы очень боялись за них, потому что в городе везде были развешены объявления о том, что евреи должны явиться в гетто, просили, чтобы ни никуда не выходили из дома. Однажды нас не было дома, я с сестрой где-то играла, а мама тоже ушла куда-то. Когда вернулись, нашли записочку, что они ушли в гетто, потому что боятся за нас. В приказах по городу говорилось, что русские должны сдавать евреев в гетто, если знают, где они находятся. Иначе их тоже будут расстреливать.

Прочитали эту записочку и побежали с сестрой к Двине, моста в том месте не было, в гетто людей перевозили на лодках. Берег оцепили немцы. На наших глазах загружали лодки стариками, детьми, довозили до середины реки и лодку опрокидывали Мы искали, наших стариков не было. Видели, как села в лодку семья — муж, жена и двое детей, когда лодку перевернули, взрослые сразу пошли ко дну, а дети все время всплывали. Фашисты, смеясь, били их веслами. Они ударят их в одном месте, те всплывают в другом, догоняют и снова бьют. А ни не тонули. как мячики.

Стояла такая тишина, а может. у меня заложило уши, и мне казалось, что стояла тишина, что все замерло. Вдруг среди этой тишины раздался смех, какой-то молодой, утробный смех, рядом стояли молодые немы, наблюдая все то, они смеялись. Я не помню, как пришли мы с сестрой домой, как я ее дотащила. Тогда, видно, очень быстро взрослели дети, ей было три года, она все понимала.

Я боялась ходить по улицам, и как-то спокойнее себя чувствовала, когда ходила по развалинам. Ночью в дом ворвались немцы и начали нас расталкивать. Я спала с сестрой, мама с бабушкой. Выгнали всех на улицу, не дали ничего с собой взять, а это было начало зимы, погрузили на машины и повезли к поезду.

Алитус — так назывался литовский город, в котором мы оказались через несколько недель. На станции построили в шеренги и повели, по дороге мы встретили литовцев. Они, вероятно, знали, куда нас ведут, одна женщина подошла к маме и говорит: «Вас ведут в лагерь смерти, дайте мне свою девочку, я ее спасу. Если останетесь живы, найдете». Сестра была красивенькая, все ее жалели. Но какая мать отдаст своего ребенка?

В лагере у нас сразу забрали бабушку. Сказали, что стариков переводят в другой барак. Ждали, что бабушка придет к нам, но она не вернулась. Потом откуда-то узнали, что все старики прошли через газовую камеру. Следом за бабушкой однажды утром увели сестру. Перед этим несколько немцев ходили по бараку и переписывали детей, выбирали красивых, обязательно беленьких. У сестры были белые кудри и голубые глаза. Записывали не всех, именно таких. Меня не взяли, я была черненькая. Немцы гладили сестру по головке, на им очень нравилась.

Сестру уводили с утра, а возвращали вечером. С каждым днем она таяла. Мама ее расспрашивала, но она ничего не рассказывала. Или их напугали, или им что-то там давали, какие-нибудь таблетки, но она ничего не помнила. Потом мы узнали, что у них брали кровь. Крови, видно, брали очень много, через несколько месяцев сестра умерла. Она умерла утром, когда пришли снова за детьми, она уже была мертвая.

Бабушку я очень любила, потому что всегда оставалась с ней, когда папа с мамой уходили на работу. Но мы не видели ее смерть и все надеялись, что она жива. А смерть сестры была рядом, она лежала, как живая.

В соседнем бараке жили орловские женщины, они были в шубах, шубы у них расклешенные, у каждой много детей. Их выгоняли из барака, строили по шесть человек и заставляли маршировать вместе с детьми, дети цеплялись за них. Если женщина шла не в ногу с остальными, ее били плеткой. Я смотрела на этих женщин, ее бьют, а она все-таки идет, потому что знает: если упадет, то ее расстреляют и ее детей расстреляют. У меня поднималось что-то в груди, когда я видела, как они вставали и шли.

Взрослых гоняли на работу, они доставали из Немана бревна и таскали их на берег. Там же, в воде, многие умирали. Один раз комендант схватил меня и толкнул в группу, которая должна была идти на работу. Тогда из толпы выбежал старик, оттолкнул меня и стал на мое место. Когда вечером мы хотели отблагодарить его, мы его не нашли. Сказали, что он умер в реке.

Мама моя была учительницей. Она твердила: «Надо остаться человеком». Даже в аду она старалась сохранить какие-то привычки нашего дома. Не знаю, где она стирала и когда, но на мне всегда все было чистое, стираное. Зимой она стирала снегом. Снимет с меня все, я сижу на нарах по одеялом, а на стирает. У нас было только то, что было на нас.

Даже пытались отмечать праздники, приберегали на этот день чего-нибудь съестного. Мама пыталась улыбаться в этот день. Она верила, что придут наши. Благодаря этой вере мы и выжили.

…Пройти через все это, видеть все это и остаться ребенком? Я смотрела на все глазами взрослого человека, я была старше своих ровесниц. И уже пошла не в первый, а сразу в пятый. Была я очень замкнутая, очень долго сторонилась людей. На всю жизнь полюбила одиночество. Меня тяготили люди, мне трудно было с ними. У меня было что-то свое, чем я не могла ни с кем поделиться. Никогда никому не рассказывала об этом, даже своим близким. Это невозможно рассказать. Первый раз рассказываю вам… Говорю вам и вижу сейчас лицо бабушки, когда ее уводят от нас. Вы же его не видите, как вам это передать. Я не слышу в себе слов, которые бы могли передать. Знаю, что нет таких слов.

Мама, конечно, замечала, как я изменилась. Она старалась отвлечь меня. придумывала праздники, не забывала ни одни мои именины. После войны ее особенно тянуло к людям, она была очень гостеприимна, у нас постоянно были гости, ее друзья. Мне это трудно было понять. И я не догадывалась, как мама меня жалеет…

## «Как спелые тыквы…»

***Яков Колодинский — 6 лет.***

***Сейчас — учитель.***

***Живет в деревне Ревятичи Березовского района Брестской области.***

…Таскали в сад под вишни подушки, одежду, подушки большие, нас за ними не видно, одни ноги торчат. Самолеты улетали, таскали все назад в хату. И так несколько раз на день. Это в начале войны, а потом уже не жалко было ничего, мать только нас, детей, соберет, остальное бросали.

Тот лень… Мне кажется, что я это знаю. А может быть, из рассказов отца. По-моему, я это помню.

Утро… Солнце, ласковое солнце. Уже коров выгнали. Мать будит меня, дает кружку теплого молока. Нам скоро идти в поле. Батька клепает косу.

— Володя, — стучит в окно сосед и зовет батьку.

Батька выходит на улицу.

— Тикаем… Немцы ходят со списком по деревне. Кто-то переписал всех активистов. Учительницу забрали…

Вдвоем они поползли огородами к лесу. Через какое-то время заходят к нам два немца и полицай.

— Где батька?

— Уехал на сенокос, — ответила мать.

Походили по хате, посмотрели, нас трогать не стали и вышли.

Утренняя синева еще дымкой стелется. Зябко. Смотрим с мамой из-за калитки: одного соседа на улицу вытолкали, вяжут ему руки, учительницу ведут… Связывают всем руки сзади и ставят по два человека. Я никогда не видел связанного человека. По мне мелкая дрожь пошла. Мать гонит: «Иди в хату. Надень пиджачок». Я в маечке стою, меня колотит, но я в хату не иду.

Наша хата стояла как раз посредине деревни. К ней всех сгоняли. Все быстро делалось. Связанные люди стояли, опустив головы. По списку пересчитали их и погнали за деревню. Было много деревенских мужчин и учительница.

Женщины и дети за ними побежали. Гнали их быстро, мы отстали. Добежали до последнего сарая, слышны выстрелы. Люди начинают падать, то упадет, то поднимется. Быстро их постреляли и садятся уезжать. Один немец с мотоциклом разворачивается и объезжает этих убитых людей. У него в руках что-то тяжелое… Или дубинка, или заводная ручка от мотоцикла… Он, не слезая с мотоцикла, на тихом ходу раскалывает всем головы… Другой немец хотел из пистолета достреливать, этот махнул головой, что не надо. Все поехали, а он не уехал, пока все головы не расколол. Они трещали, как спелые тыквы трещат. Я еще никогда не слышал, как трещат человеческие кости… Мне запомнилось, что они трещали, как спелые тыквы, когда отец их рубил топором, а я выбирал семечки.

Мне так стало страшно, что я бросил маму, бросил вех и куда-то побежал. Один. Спрятался не в хате, а почему-то в сарае, меня мать нашла. Я два дня заикался, не мог говорить.

На улицу боялся выйти. Через окно видел: один несет доску, второй топор, третья с ведром бежит. Тесали доски, запах свежевыструганных досок стоял в каждом дворе, потому что почти в каждом дворе стоял гроб. Меня от этого запаха потом долго тошнило.

В гробу лежали знакомые мне люди… Ни у кого не было головы… Вместо головы что-то в белом платочке… То, что руками собрали…

…Батька вернулся с двумя партизанами. Тихий вечер, коров пригнали. Надо ложиться спать, а мать нас собирает в дорогу. Надели костюмчики. У меня еще два брата было — одному четыре года, другому девять месяцев. Самый больной я. До кузницы я шел сам, там остановились, и батька оглянулся. Я тоже оглянулся. Деревня уже была похожа не на деревню, а на черный незнакомый лес.

У мамы на руках маленький, батька несет узлы и среднего брата. А я за ними не поспеваю. Молодой партизан говорит: «Дай ко мне на горб». В одной руке он нес пулемет, в другой — меня…

## «Мы ели… парк»

***Аня Грубина — 12 лет.***

***Сейчас — художник.***

***Живет в Минске.***

…Девочка я ленинградская. В блокаду у нас умер папа. Спасла детей мама. До войны она была огонек. В сорок первом у нас родился Славик. Сколько это ему было, когда блокада началась? Шесть месяцев, вот-вот шесть месяцев. Она и этого крошку спасла, и нас троих. А папу мы потеряли. В Ленинграде у всех умирали папы, папы умирали скорее, а мамы оставались. Им, наверное, нельзя было умирать. На кого бы остались мы? А папы нас оставляли на мам.

Из Ленинграда нас вывезли на Урал, в город Карпинск. Вывезли всю нашу школу. В Карпинске мы сразу бросились в парк, мы не гуляли в парке, мы его ели. Особенно любили лиственницу, ее пушистые иголочки — это такая вкуснятина! У маленьких сосенок объедали молодые побеги, щипали травку. С блокады я знаю всю съедобную траву, в карпинском парке было много кислицы, так называемой заячьей капусты. Это сорок второй год, на Урале тоже голодно было. А в детдоме у нас только ленинградские дети, которых нельзя было накормить, нас долго не могли накормить.

Не помню, кто первый в детдоме увидел… немцев. Когда я увидела первого немца, то я уже знала, что это пленный, что работают они за городом на угольных копях. До сегодняшнего дня не понимаю, почему они прибегали к нашему детдому, именно к ленинградскому?

Когда я его увидела, он ничего не говорил. У нас только кончился обед, и я, видно, еще пахла обедом. он стоял возле меня, нюхал воздух, и у него непроизвольно двигалась челюсть, она как будто что-то жевала, а он пробовал держать ее руками. Останавливать. А она двигалась и двигалась. Я совершенно не могла видеть голодного человека. Не могла на него смотреть. У нас у всех это было как болезнь. Побежала и позвала девочек, у кого-то остался кусочек хлеба, мы отдали ему этот кусочек хлеба.

Он ничего не говорил, только благодарил.

— Данке шен… Данке шен…

Мы уже знали, когда они приходили, один или два человека. Выбегали с тем, у кого что находилось. Когда я дежурила на кухне. я оставляла им весь свой дневной кусочек хлеба; вечером выскребывала кастрюли. Все девочки что-нибудь им оставляли, а оставляли ли мальчишки, не помню. Мальчишки наши были постоянно голодные, им все время не хватало еды. Воспитательницы нас ругали, потому что и у девочек случались голодные обмороки, но мы тайком все равно оставляли еду для этих пленных.

В сорок третьем он уже к нам не приходили, в сорок третьем стало легче. Урал уже не так голодал. В детдоме был настоящий хлеб, давали вдоволь каши. Но я до сих пор не могу видеть голодного человека. Недавно в программе «Время» показывали голодных палестинских беженцев… Как они стоят в очереди, голодные, с мисочками… Я выбежала в другую комнату, со мной началась истерика.

Первый год в Карпинске мы не замечали природу, все, что было природой, вызывало у нас одно желание — попробовать: съедобное ли оно? И только через год я увидела, какая красивая уральская природа. Какие там дикие ели, высокие травы, целые леса черемухи. Какие там закаты! Я стала рисовать. Красок не было, рисовала карандашом. Рисовала открытки, мы посылали их своим родителям в Ленинград. Больше всего любила рисовать черемуху. Карпинск пах черемухой. Он, мне кажется, и сейчас так пахнет.

Уже который год преследует желание — съездить туда. Невероятно хочется увидеть: стоит ли наш детдом — здание было деревянное? Уцелел ли в новой жизни? Там уже трамвай пустили…

## «Кто будет плакать, того будем стрелять…»

***Вера Ждан — 14 лет.***

***Сейчас — доярка.***

***Живет в деревне Дубовляны Минского района.***

…Нас взяли под автоматы и повели. Повели в лес на поляну. «Нет, крутит головой немец. — Не тут…» Повели дальше. Полицаи говорят: «Роскошь положить вас, партизанских бандитов, в таком красивом месте. Положим в грязи».

Выбрали самое низкое место, там всегда вода стояла. Дали отцу и брату лопаты копать яму. А нас с мамой под деревом поставили смотреть. Мы смотрели, как они выкопали яму, брат последний раз лопатой кинул: «Эх, Верка!..» Ему шестнадцать лет было.

Мы с мамой смотрели, как их расстреливали. Брат упал не в яму, а перегнулся от пули и вперед ступил, сел возле ямы. Сапогами спихнули его в яму, в грязь. И больше всего страшно было не то, что их постреляли, а то, что в липучую грязь положили. Поплакать нам не дали, погнали в деревню. А их даже песочком сверху не присыпали.

Два дня плакали мы с мамой тихо, дома. На третий день приходят тот же немец и два полицейских: «Собирайтесь хоронить своих бандитов». Мы пришли на то место, они в яме плавают, там колодец уже, а не могила. Лопаты мы свои взяли, прикапываем и плачем. А ни говорят: «Кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь…» Они заставляли нас улыбаться. Я нагнусь, он подходит и в лицо заглядывает: улыбаюсь я или плачу?

Стоят… Все молодые мужчины, красивые… И такое приказывают… Великий страх обнял мое сердце, я уже не мертвых, я этих, живых, боялась. Молодых… С того времен боюсь молодых мужчин. Всю жизнь одна живу… Замуж не вышла…

## «Золотые слова…»

***Ира Мазур — 5 лет.***

***Сейчас — строитель.***

***Живет в Гродно.***

…У одной девочки, у Леночки, одеяло было красное, а у меня коричневое. И когда летели немецкие самолеты, мы ложились на землю и накрывались одеялами. Снизу красным, а поверх моим, коричневым. Я девочкам говорила, что летчик. Сверху увидит коричневое и подумает — камень…

О маме в памяти осталось только, как боялась ее потерять. Я знала девочку, у которой мама погибла при бомбежке, она одна осталась. Она все время плакала. Моя мама брала ее на руки и успокаивала. Потом помню, как мы с чужой тетей хоронили в деревне маму. Мы ее мыли, она лежала худенькая, как девочка. Я ее не боялась, было жалко ее. Как обычно, пахли ее волосы и руки, куда ее ранило, не помню. Видно, ранка была пулевая, маленькая. Почему-то думала, что ранка у мамы от пули маленькая, на дороге один раз я видела маленькие пули. И еще удивлялась: как этими пулечками можно убить большого человека? Даже меня, я же в тысячу, в миллион раз ее больше. Почему-то мне запомнился этот миллион, мне казалось, что это очень и очень много, так много, что нельзя сосчитать.

Мама не сразу умерла. Она долго лежала на траве, открывала глаза:

— Ира, мне надо тебе рассказать…

— Мама, я не хочу…

Мне казалось, что, если она мне скажет то, что хочет, она умрет.

Когда мы маму помыли, она лежала в платочке, с большой косой. Девочка… Это уже сегодняшний мой взгляд на нее. Я уже старше ее в два раза, маме было двадцать пять лет. У меня сейчас дочка такая.

Что у меня осталось от детдома? Категоричный характер, я не умею быть мягкой, осторожной в словах, потому что я росла без мамы. В семье жалуются, что я не очень ласковая. Можно ли вырасти ласковой без мамы?

В детдоме мне хотелось иметь свою, личную чашечку. чтобы она была только моя. Всегда завидовала, что у людей остаются какие-то вещи с детства. А у меня их нет, ни о чем я не могу сказать: «Это у меня с детства». А так хочется сказать, иногда даже придумать.

Другие девочки влюблялись в наших воспитательниц, а я любила нянечек. Они больше были похожи на наших воображаемых мам. Воспитательницы были строгие и аккуратные, а нянечки вечно растрепанные, по-домашнему ворчливые, могли отшлепать нас, но совсем не больно. По-матерински. Они нас мыли, стирали в бане, мы могли вскарабкаться на них. Они дотрагивались до нашего голенького тела. А это только мама могла делать, вот я это понимала. ни нас кормили. своими способами лечили от насморка и вытирали слезы. Когда мы попадали к ним в руки, это был уже не детдом, а начинался дом.

Другие слышу, говорят: «Моя мать» или «Мой отец». Я не понимаю, как это — мать, отец? Будто это чужие люди. Только — мама или папа. А если бы они у меня были живы, я звала бы их: мамочка и папочка. Золотые это слова…

## «Принесли ее по кусочку…»

***Валя Змитрович — 11 лет.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Минске.***

Вспоминать не хочу. Не хочется вспоминать, никогда не хочется.

Нас было семеро детей. До войны мама смеялась: «Сонейко светит, все дети вырастут», началась война — плакала: «Такой лихой час, детей в хате, что бобу…» Юзику — семнадцать лет, мне — одиннадцать, Ивану — девять, Нине — четыре года, Гале — три, Алику — два, Саше — пять месяцев… Дитя грудное, оно еще грудь сосало и плакало.

Тогда я не знала, это нам после войны люди рассказали, что родители наши были связаны с партизанами и с нашими военнопленными, которые работали на молочном заводе. Там работала и мамина сестра. Я одно помню. У нас сидели ночью какие-то мужчины, и, видимо, свет просвечивал, хотя окно было занавешено толстым одеялом, раздался выстрел — и прямо в окно. Мама схватил лампу и спрятала под стол.

…Мама что-то нам пекла из картошки, из картошки она могла сделать все, как сейчас говорят, сто блюд. К какому-то празднику готовились. Я помню, что в доме вкусно пахло. А отец косил у леса клевер. Немцы окружили дом и кричат: «Выходи!» Вышли мама и мы, трое детей. Маму начали бить, она кричит:

— Дети, идите в хату.

Ее поставили к стенке под окном, а в окне — мы.

— Где твой сын?

Мама отвечает:

— Торф копает.

— Поехали туда.

Они заталкивают маму в машину и сами садятся.

Галя выбежала из хаты и кричит, к маме просится. Бросили и ее к маме в машину. А мама кричит:

— Дети, идите в хату…

Прибежал с поля отец, видно, ему передали люди, взял какие-то документы и бегом за мамой. И тоже крикнул нам: «Дети, идите в хату». Как будто хата нас спасет или там есть мама. Ждали во дворе, к вечеру залезли кто на ворота, кто на яблони: не идут ли наши папа с мамой и сестра с братом? Увидели — бегут с другого конца деревни люди: «Дети, кидайте хату и бегите. Ваших родных уже нет. А за вами едут…»

По картофельной разборке поползли к болоту. Сидели там ночь, стало всходить солнце: что нам делать? Я вспомнила, что в колыбельке мы забыли маленькую. Пошли в деревню, забрали маленькую, она была живая, только посиневшая от крика. Брат Иван говорит: «Корми». Чем я буду ее кормить. У меня же грудей нет. А он испугался, что она умрет, и просит: «Попробуй…»

Заходит соседка:

— Детки, вас будут искать. Идите к тете…

А тетя наша жила в другой деревне. Мы говорим:

— Пойдем искать тетю, а вы скажите, где наши мама с папой и сестричка с братиком?

Она нам рассказал, что их расстреляли. Что лежат они под лесом:

— Но вам туда не надо, детки.

— Мы будем уходить из деревни и зайдем попрощаться.

— Не надо, детки, маму вам такую видеть…

Проводила она нас за деревню, а туда, где лежали наши родные, не пустила.

Через много лет я узнала, что маме выкололи глаза и вырвали волосы, отрезали грудь. На маленькую Галю, которая спряталась под елку и не отзывалась, напустили овчарок. Те принесли ее по кусочку. Мама еще была живая, мама все это видела…

После войны остались мы с сестричкой Ниной вдвоем. Нашла я ее у чужих людей, забрала к себе. Пришли в райисполком: «Дайте нам комнатку, мы будем жить вдвоем». Дали нам коридор в рабочем общежитии. Я работала на фабрике, Нина в школе училась. Никогда я ее по имени не назвала, всегда: «Сестричка». Она у меня одна. Правда, сестричка?..

## «До сих пор помню, как я плакал…»

***Алеша Кривошей — 4 года.***

***Сейчас — железнодорожник.***

***Живет в Витебске.***

…У нас как раз вывелись цыплята. Желтенькие, ни катались по полу, шли ко мне на руки. Перед обстрелом бабушка собирала их в решето:

— Надо же война — и цыплята…

Я боялся, что цыплят убьют. До сих пор помню, как я плакал. Когда все бежали в погреб прятаться, меня нельзя было вынести из хаты, пока бабушка не возьмет с собой решето с цыплятами…

## «Одна семейная фотография…»

***Толя Червяков — 5 лет.***

***Сейчас — фотограф.***

***Живет в Минске.***

Если что-то осталось в памяти, то как одна большая семейная фотография…

На переднем плане отец с винтовкой и в офицерской фуражке, он носил ее и зимой. Фуражка и винтовка вырисовываются отчетливей отцовского лица. Очень хотелось мальчишке иметь и то, и другое.

Рядом с отцом — мама. Саму маму тех лет не помню, больше запомнилось то, что она делала: постоянно стирала что-то белое, пахло лекарствами. Мама была медсестрой в партизанском отряде.

Где-то тут мы с маленьким братом. Он все время болеет. Вот его помню красного, все тельце покрыто коростой. Плачут с мамой ночью. Он от боли, мама от страха, что он умрет.

А дальше вижу, как к большой крестьянской хате, в которой мамин госпиталь, идут бабы с кружечками. В кружечках молоко. Молоко сливают в ведро, и мама купает в нем брата. Брат первую ночь не кричит, спит. А утром мама говорит отцу:

— Чем я отплачу людям?..

## «Так я вам хоть булочки в карман насыплю»

***Катя Заяц — 12 лет.***

***Сейчас — рабочая совхоза «Кличевский».***

***Живет в деревне Усакино Кличевского района Могилелвской области.***

…Бабушка гонит нас от окон. Рассказывает маме:

— Нашли в жите старого Тодора с нашими ранеными солдатами. Принес им костюмы своих сынов, хотел переодеть. Тех постреляли в жите, а ему приказали выкопать яму возле порога своей хаты. Копает…

Старый Тодор — это наш сосед. Из окна видно, как выкопал он яму. Забрали лопату, что-то по-своему стали ему говорить. Старик не понимает, толкнули в яму и показали, чтобы стал на коленки… Выстрелили. Он только качнулся… Так и засыпали… На коленках… Яма высокая.

Всем стало страшно. Что это за люди? Возле порога убили человека и возле порога закопали. Первый день войны…

…Сожгли нашу деревню так, что одна земля осталась. У нас на огороде травы даже не осталось. Жили по милости — идем с сестричкой в чужие деревни, просим людей:

— Подарите что-нибудь…

Мама больная, мама ходить не могла. Мама стыдилась.

Придем в хату:

— Откуда вы, деточки?

— Из Ядреной Слободы… Нас спалили…

Давали: ячменя мисочку, хлеба кусочек, яйцо одно — что у кого было. Давали. Так уже спасибо людям, все давали.

Другой раз переступишь порог, бабы в голос плачут:

— Ой, детки, сколько ж вас! Утром прошло две пары…

Или:

— Только вышли от нас люди. Хлеба не осталось, так я вам хоть булочки в карманы насыплю.

Так из хаты не выпустят, чтобы с пустыми руками. Ну, хоть, ну, хоть лену по кулачку дадут. Насобираем за день снопик. Мама пряла сама, ткала. На болоте торфом красила, в черный цвет.

Вернулся с фронта отец. Начали ставить хату, на всю деревню осталось две коровы. Лес на коровах возили… На себе… Больше своего роста полено не осилишь, а если одинаковое с тобой — тянешь…

## «Ма-ма мы-ла ра-му…»

***Федя Трутько — 13 лет.***

***Сейчас — начальник отдела технического контроля известкового завода.***

***Живет в райцентре Береза Брестской области.***

Мать перед войной тяжело заболела, лежала в Бресте в больнице. Немцы больных выгнали из больницы, тех, кто не мог ходить, куда-то увезли на автомашинах. Среди последних, рассказывали люди, была и моя мать. Ее судьба неизвестна. Расстреляли. Но где? Как? Когда? Я не узнал. никаких следов не оставлено.

Нас с сестрой и отцом война застала дома в Берез. Брат Володя учился в Брестском дорожно-техническом училище. Другой брат, Александр, окончил в Пинске краснофлотское училище, ныне речное, и там же работал мотористом на пароходе.

Отец наш — Степан Алексеевич Трутько — зампредседателя Березовского райисполкома. Ему был приказ — эвакуироваться с документами в Смоленск. Забежал домой:

— Федя, забирай сестру, и уходите к деду в Огородники…

Утром пришли мы на хутор к деду, а ночью постучал в окно Володя, два дня и две ночи шел из Бреста. В октябре появился на хуторе и Александр. Он рассказал, что пароход, на котором они шли к Днепропетровску, разбомбили. Кто уцелел, кто попал в плен. Немцы гнали их впереди, когда шли в наступление. Несколько человек бежало, среди них и Саша.

Мы обрадовались, когда к деду зашли партизаны.

— Сколько классов окончил? — спросил меня командир, когда нас привели к нему.

— Пять классов.

Услышал приказ:

— Оставить в семейном лагере.

В семейном лагере жили женщины и маленькие дети, а я уже был пионер. Это был мой главный козырь, что я уже пионер. Просился в боевой отряд. Не повезло, как я считал, когда услышал от партизан:

— Школу у нас открывают для таких, как ты.

Кругом война, а мы учились. Школу нашу называли «зеленой школой». Не было парт, классов, учебников, были только ученики и учителя. На всех один букварь, один учебник истории, один задачник по арифметике и один учебник грамматики. Без бумаги, мела, чернил и карандашей. Расчистили поляну, посыпали песком, и это была наша «школьная доска», на ней писали тонкими прутиками первоклассники. Партизаны приносили немецкие листовки, старые обои и газеты. Все это отдавали старшим классам. Даже школьный звонок где-то добыли. Ему радовались больше всего. Разве это настоящая школа, если не звенит звонок? Сделали нам красные галстуки.

— Во-озд-ух! — кричит дежурный.

Поляна пустеет. А потом снова толкутся на песке маленькие:

— Ма-ма мы-ла ра-му…

Из веточек и чурочек сделали большие стоячие счеты. Из дерева вырезали несколько комплектов азбуки. У нас даже уроки физкультуры были. Оборудовали спортивную площадку с перекладиной, беговой дорожкой, шестом и кругами для метания гранат. Гранаты я метал дальше всех. От обиды, наверное, что не берут в отряд.

Закончил шестой класс и твердо сказал, что в седьмой пойду после войны. Дали мне винтовку. Потом сам добыл бельгийский карабин, он был маленький и легкий…

## «Он дал мне кубанку с красной ленточкой…»

***Зоя Васильева — 12 лет.***

***Сейчас — инженер-патентовед.***

***Живет в Минске.***

Какая я счастливая была до войны! Я поступила в хореографическую студию при нашем Театре оперы и балета. Студия экспериментальная, по всей республике выбирали самых талантливых детей. А мне написал рекомендательное письмо знаменитый московский режиссер Голейзовский. В тридцать восьмом году был парад физкультурников в Москве, и я на него попала, нас посылали от Минского Дворца пионеров. Выпустили синие и красные шары, шли в колонне. Голейзовский был главным режиссером этого парада, и он меня заметил.

Через год он приезжает в Минск, находит меня и пишет письмо Зинаиде Анатольевне Васильевой, народной артистке БССР… Это она организовала хореографическую студию. Несу письмо, очень хочется прочитать, что в нем написано, но я себе этого не разрешаю. Зинаида Анатольевна жила в гостинице «Европа», недалеко от консерватории. Поскольку я се делала тайно от родителей, то очень спешила, когда уходила из дома. Бегала по улице босиком, а тут только в сандалии залезла, не переодевалась. Надень я что-нибудь праздничное, мама бы спросила: «Куда ты?» А родители слушать не хотели ни о каком балете, были категорически против.

Отдала я Зинаиде Анатольевне письмо, она прочитала и говорит: «Раздевайся. Посмотрим руки, ножки». Я замерла в ужасе как это я сейчас сниму сандалии, когда у меня ноги грязные? У меня, видно, было такое выражение лица, что она все поняла. Дала мне полотенце, пододвинула стул к умывальнику…

В студию меня зачислили, из двадцать человек нас оставили только пять. Началась новая жизнь: классика, ритмика, музыка… Какая я была счастливая! Зинаида Анатольевна меня любила. А мы все любили ее, это был наш кумир, наш бог, никого в мире не было красивее ее. В сорок первом году я уже танцевала в балете «Соловей» Крошнера, была занята во втором акте в танце казачков. Мы показывали его на декаде белорусского искусства в Москве. Я еще танцевала маленького цыпленка в нашем студийном балете «Цыплята». Там была большая курица-мама, а я самый маленький цыпленок.

После декады в Москве нам наградили путевками в пионерский лагерь под Бобруйском. Там мы тоже танцевали своих «цыплят». А там в подарок пекли огромный торт. Его испекли и на двадцать второе июня…

В знак солидарности с Испанией мы носили пилоточки, мой любимый головной убор. Я его сразу надела, когда дети закричали: «Война!» По дороге в Минск потеряла пилоточку…

В Минске мама обняла меня на пороге, и мы побежали к станции. Под бомбежкой потерялись. Я не нашла маму с сестренкой, еду без них. Утром поезд остановился в Крупках и дальше не пошел. Люди заходят в деревенские хаты, а я стесняюсь, потому что без мамы, одна. Вечером все-таки зашла в один дом, попросила попить что-нибудь. Дали мне молока. Поднимаю глаза от кружки на стенку и вижу: стоит моя молодая мама под венцом. Как закричу: «Мама!» Дед со старухой стали меня расспрашивать: «Откуда ты? Кто такая?» Такое только в войну может случиться — я попала к своему двоюродному деду, брату папиного отца, которого никогда не видела. Конечно, он меня никуда не пустил.

В Минске я танцевала цыплят, а теперь мне надо было их сторожить, чтобы сороки не унесли. Цыплята — это ничего, а гусей я боялась. Я боялась всего, я даже петуха боялась. первое мужество я проявила, когда погнала пасти гусей. Гусак был умный, он понимал, что я его боюсь, шипел и норовил потянуть сзади за сарафанчик. Еще я очень боялась грозы. Приходилось хитрить перед моими новыми друзьями, которые с детства не боялись ни гусей, ни петуха. Если я видела, что по небу идет гроза, тут же что-нибудь придумывала и убегала в первый попавшийся дом. И не было страшнее звука, чем выстрел грома. А ведь я уже видела бомбежку…

Мне нравились деревенские люди, их доброта, все звали меня «дитяточко». Помню, что меня очень интересовала лошадь, нравилось ею править, дед разрешал. Она фыркнет, хвостиком помашет, а главное — она меня не слушала: дерну правой рукой, она знает, что сюда надо повернуть, если влево, то влево.

Просила деда:

— Отвези меня на лошади к маме.

— Кончится война, тогда отвезу.

Дед был хмурый, строгий.

Я устроила побег с чердака, за деревню меня проводила подружка.

На станции залезла в теплушку, оттуда выгнали. Залезла на какую-то машину, села с краю. Вспомнить страшно: садятся в машину немец с немкой, а я там, но они меня не тронули. В дороге стали задавать вопросы: где я училась? Сколько окончила классов?

Когда они узнали, что я училась еще и в балетной школе, не поверили. Тут же, в кузове, показала им своего цыпленка. А учила ли я иностранный язык? — спросили.

В пятом классе мы уже начали учить французский язык, все это еще было свежо в памяти. Немка что-то спросила у меня по-французски, я ей ответила. Они были поражены, что подобрали в деревне девочку, которая закончила пять классов. училась в балетной школе и даже ее учили французскому языку. Они не могли прийти в себя от этого открытия.

Не могу сейчас даже вспомнить то свое состояние. Осталось чувство оскорбления… От их глаз, о их слов… А это были, как я поняла, медики, образованные люди. Им внушили, что мы дикари.

…Вот сейчас я сама понять не могу: петуха боялась, а увидела партизан — в папахах, портупее, со звездочками и автоматами: «Дяденьки, я такая смелая». Но в партизанском отряде все мои мечты свели к тому, что я должна сидеть на кухне и чистить картошку. Вы представляете мой бунт в душе! Неделю отдежурила на кухне, прихожу у командиру отряда: «Хочу быть настоящим бойцом». Он дал мне кубанку с красной ленточкой, а я хотела сразу винтовку…

Сейчас, с расстояния лет, удивляюсь, какие мы были дети. А может, не дети?

Вернулась к маме с медалью «Партизан Отечественной войны» II степени. Пошла в школу и забыла обо всем, играла с девчонками в лапту, каталась на велосипеде. Один раз влетела на велосипеде в воронку от бомбы, поранилась, увидела кровь и не войну вспомнила, а свою балетную студию. Как я теперь буду танцевать? Приедет скоро Зинаида Анатольевна Васильева, а у меня разбитая коленка…

Только не пришлось мне учиться в балетной школе. Пошла работать на завод, надо было помогать маме. И так получилось: дочь моя учится в седьмом классе… а мама ее — в десятом…

## «Разве мы — дети?..»

***Гриша Третьяков — 13 лет.***

***Сейчас — шофер.***

***Живет в поселке Ждановичи Минского района.***

Записался, что я с двадцать шестого, а не с двадцать восьмого года, чтобы взяли в ФЗО учиться на строителя. Два года себе прибавил. посмотрели, вроде не похож, но раз написано на бумаге, поверили. Срок обучения — шесть месяцев, а нас учили три месяца, выпустили досрочно. Собственно, как учили? Показали, как держать инструмент в руках — рубанок, топор, пилу, — и выпустили. После этого я попал на судоремонтный завод в город Весьегонск на Рыбинском водохранилище и проработал там всю войну. Придет пароход, его надо срочно отремонтировать, так дают только два часа поспать в сутки.

Ремонт в основном шел зимой, летом мы заготавливали на зиму доски. Сначала на нашу команду давали одного старика, а потом одни стали ездить сплавляли лес, плоты гоняли. Плоты делали небольшие, толщиной полметра и длиной метров шесть.

В пятнадцать лет мы уже чувствовали себя мужчинами. Один парень даже жениться хотел на такой же девчонке пятнадцатилетней. Им сказали: «Вы еще дети…» Разве мы — дети?..

## «И стреляю вверх…»

***Аня Павлова — 9 лет.***

***Сейчас — повар.***

***Живет в поселке Ждановичи Минского района.***

…Они тащили меня в сарай. Мама бежала за ними и рвала на себе волосы. Она кричала: «Делайте со мной, что хотите, только не трогайте дитя». У меня еще было два младших брата, они тоже кричали…

Жили мы в деревне Меховая Орловской области. Оттуда нас пешком пригнали в Белоруссию. Гнали из концлагеря в концлагерь… Когда меня хотели забрать в Германию, мама подложила себе живот, а мне дала на руки меньшего братика. Я спаслась.

Ой! Душа будет сегодня весь день и всю ночь не на месте. Тронула, разворошила… Собаки рвали детей… А немцы хохотали… Сядем над разорванным дитяткой и ждем, когда сердце у него остановится… Снегом прикроем… Вот ему и могилка до весны…

…В сорок пятом послали маму строить в Ждановичах санаторий, так я после войны тут и осталась. Сорок лет в санатории работаю. Дадут мне винтовку, десять пленных немцев, и я их на работу веду. Первый раз привела, бабы обступили нас: кто с камнем, кто с лопатой, кто с веником. А я вокруг пленных бегаю с винтовкой и кричу: «Бабоньки! Не трогайте их… Бабоньки, я за них расписку дала… Стрелять буду…» И стреляю вверх… Бабы плачут, и я плачу. А они стоят…

## «Дедушку похоронили под окном…»

***Варя Вырко — 3 года.***

***Сейчас — рабочая.***

***Живет в Полоцке.***

…Дедушку убили, мы похоронили его у себя под окном. На кладбище не дали похоронить, потому что он убил немца. К концу войны на том месте вырос подорожник. С тех пор я никогда не рву подорожник…

Есть мы хотели больше взрослых. Наверное, потому что мы росли. Чтобы хлеба казалось больше, крошили его и крошки ссыпали в карман, а потом целый день ели по крошке. В сорок пятом в детдоме нам каждому дали по спичечной коробке конфет. Горошек… Это было так много…

## «В первый класс мама носила меня на руках…»

***Инна Старовойтова — 7 лет.***

***Сейчас — агроном.***

***Живет в Могилеве.***

…Мама поцеловала нас и ушла, мы остались в шалаше вчетвером: младшие — братик, двоюродные брат и сестра и я — самая большая, семь лет. Мы не в первый раз оставались одни и научились не плакать, вести себя тихо. Знали, что мама наша разведчица, ее послали на задание, а нам надо ее ждать. Из деревни мама нас недавно забрала, жили мы теперь с ней вместе в семейном партизанском лагере.

Сидим и слушаем: деревья шумят, женщины неподалеку стирают, детей своих ругают. Вдруг крик: «Немцы! Немцы!» Все стали выбегать из своих шалашей, звать детей, убегать дальше в лес. А куда мы побежим, одни, без мамы? А вдруг мама знает, что немцы идут в лагерь, и она бежит к нам. Так как я самая старшая, говорю: «Молчок всем. Здесь темно, и немцы нас не найдут».

Притаились мы, спрятались. Кто-то заглянул в шалаш и сказал по-русски:

— Кто есть, выходите!

Голос был спокойный, и мы вылезли из шалаша. Я увидела высокого человека в зеленой форме.

— У тебя папа есть? — спросил он у меня.

— Есть.

— А где он?

— Он далеко, на фронте, — выложила я.

Помню, что немец даже засмеялся.

— А мама твоя где? — задал он очередной вопрос.

— Мама с партизанами в разведку ушла…

Подошел другой немец, тот был в черном. Что-то они переговорили, и этот, черный, показал нам рукой, куда надо идти. Там стояли женщины с детьми, которые не успели убежать. Черный немец навел на нас пулемет, и мне стало страшно, я поняла, что он сейчас будет делать. Я не успела даже закричать и обнять маленьких…

Проснулась я от маминого плача. Да, мне казалось, что я спала. Приподнялась, вижу: мама копает ямку и плачет. Она стояла спиной ко мне, а у меня не было сил ее позвать, сил хватило только, чтобы смотреть на нее. Мама разогнулась передохнуть, повернула ко мне голову и как закричит: «Инночка!» Она кинулась ко мне. схватила на руки. В одной руке меня держит, а другой остальных ощупывает: вдруг кто еще живой? Нет, они были холодные.

Когда меня подлечили, мы с мамой насчитали у меня девять пулевых ран. Я училась считать: в одном плечике — две пули и в другом — две пули. Это будет четыре. В одной ножке две пули и в другой — две пули. Это будет уже восемь. и на шейке — ранка. Это будет уже девять.

В первый класс после войны мама носила меня на руках…

## «А она кричала: „Это не моя дочь!..“»

***Фаина Люцко — 15 лет.***

***Сейчас — кинорабтник.***

***Живет в Минске.***

…Не буду рассказывать… Не могу… Я не думала после всего жить… Я думала, что сойду с ума… Я каждый день вспоминаю, а рассказать?.. Я буду болеть, если расскажу…

Помню, что они черные все, черные… У них даже собаки были черные…

Мы жались к матерям… Они не всех убивали, не всю деревню. Они взяли тех, кто справа стоял, и разделили: детей — отдельно, родителей — отдельно. Мы думали, что они родителей будут расстреливать, а нас оставят. Там была моя мама… А я не хотела жить без мамы…Я просилась и кричала… Как-то меня к ней пропустили.

А она увидела и кричит:

— Это не моя дочь!

— Мамочка!

— Это не моя дочь! Это не моя дочь…

Вот это я запомнила. Глаза у нее не слез были полны, а крови. Полные глаза крови:

— Это не моя дочь!

Куда-то меня оттащили. И я видела, как сначала стреляли в детей. Стреляли и смотрели, как родители мучатся. Расстреляли двух моих сестер и двоих братьев. Когда убили детей, стали убивать родителей. Стояла женщина, держала на руках грудного ребеночка, он сосал водичку из бутылочки. Они выстрелили сначала в бутылочку, потом в ребенка, а потом только мать убили.

Я думала, что сойду с ума… Что я жить не останусь… Зачем меня мама спасла?..

## «И стеночка растет…»

***Виктор Лещинский — 6 лет.***

***Сейчас — директор энергетического техникума.***

***Живет в Минске.***

Деревня называлась Коммуна. В центре деревни стоял длинный дом, на семей двадцать, — коммунарский дом. Это все, что я успел запомнить, когда за несколько дней до войны меня привезли к тете на лето. Жили мы в Быхове, а тетя — в этой деревне Коммуна под Быховом.

Говорят: «Война». Надо ехать к родителям. Тетя не пустила:

— Война кончится, тогда поедешь.

— А скоро война кончится?

— Конечно, скоро.

Через какое-то время приходят родители: «В Быхове немцы». Остались мы в деревне.

…Вот наплывает из памяти, как зимой зашли в хату партизаны. Я попросил винтовку. Это были мамины племянники, а мои двоюродные братья. Посмеялись и дали подержать винтовку в руках.

В хате все время пахло кожей. Отец шил партизанам сапоги. Я просил, чтобы и мне он сшил сапоги. Отец говорил, что, мол, подожди, у меня много работы, а я, помню, доказывал, что мне нужны маленькие сапоги, у меня нога маленькая. Он обещал…

Последнее воспоминание об отце, как его гонят по улице к большой машине… И бьют палкой по голове…

…Кончилась война, у нас ни отца, ни домам. Мне одиннадцать лет, я самый большой в семье. Еще двое — братик и сестра, те маленькие. Взяла мама ссуду, на те деньги две тысячи рублей, а сейчас это — двести. Купила старую хату, без крыши… Крыша была, но, если шел дождь, спрятаться было негде, везде текло. В одиннадцать лет я начал сам осаживать окна, перекрывать крышу соломой. Строил сарай. Как?..

Первое бревно закатил и положил сам, второе — мама помогла. А выше мы уже с ней одни поднять не можем. Делал я так: обтешу бревно на земле, зарублю угол и жду, когда будут женщины идти на работу в поле. Утром они разом вцепятся и одно бревно поднимут, я его подточу и опущу в угол. До вечера еще одно обтешу… Они идут вечером с работы, поднимут… И стеночка растет…

## «Не отдавай чужому дяде папин костюм…»

***Валера Ничипоренко — 4 года.***

***Сейчас — водитель автобуса.***

***Живет в Бобруйске.***

…Это уже был сорок четвертый год. Мне, наверное, восемь лет? Да, восемь… Мы уже знали, что отца у нас нет. Другие ждали, получили похоронки, но все равно ждали… А нам друг отца переслал его часы… Сыну… Мне… Так отец попросил перед смертью. У меня и сейчас эти часы есть, храню.

Жили мы скудно, на маленькую мамину зарплату втроем. Сестра заболела. Признали открытую форму туберкулеза. Врачи так сказали маме: надо хорошее питание, надо сливочное масло. Сливочное масло. По рыночным ценам маминой зарплаты хватало на три булки хлеба. А масла за эти деньги можно было купить полкилограмма…

Как вспомню, так и сейчас слезы пробиваются. У нас остался папин костюм. Хороший костюм. Понесли с мамой его на базар. Нашелся покупатель, быстро нашелся. Уже он приценился, деньги маме отдает, а я как заору на весь базар: «Не отдавай чужому дяде папин костюм…»

## «Ночью я плакала: где моя веселая мама?..»

***Галя Спанновская — 7 лет.***

***Сейчас — техник-конструктор.***

***Живет в Минске.***

То, что было до войны, помнится все в движении, оно движется и меняет краски. А война, детдом — это все как остановилось.

…В тыл нас везли долго, что-то очень долго. И кормили печеньем и шоколадным маслом, видно, ничем другим запастись в дорогу не успели. До войны я любила печенье и шоколадное масло, это очень вкусно, особенно в детстве. Но за месяц дороги я разлюбила их на всю жизнь.

Всю войну мне хотелось, чтобы приехала скорее мама и мы вернулись в Минск. Мне снились улицы, кинотеатр возле нашего дома, мне снились трамвайные звонки. Мама у меня была очень хорошая, очень веселая, мы с ней жили как подружки. Папу не помню, папы у нас ран не стало.

…И вот мама нашла меня и приехала в детдом. Это так было неожиданно. Восторг! Бегу к маме… открываю дверь… Стоит какой-то военный: в сапогах, в брюках, пилотке, гимнастерке. Кто это? А это, оказывается, моя мама. полный восторг! Мама, да еще военная.

Как она уезжала, не помню, я очень плакала, поэтому, видно, не помню.

Опять жду маму и жду. Три года жду. Мама приехала уже в платье. От этой радости, что тебя забирают, я ничего не видела, была только мама — и это радость. Хотелось все время смотреть на маму, чтобы она не потерялась, опять не исчезла. Я смотрела на маму, но не видела, что у нее нет одного газа. Я не могла понять, как с моей мамой может что-то случиться. Мама — это какое-то чудо, какое-то божество. А мама вернулась с фронта очень больная. Это уже была другая мама. Она мало улыбалась, она не пела, не шутила, она много плакала. Мы вернулись в Минск и жили очень трудно. Мы не нашли свой дом, который я так любила. Не было нашего кинотеатра… Не было наших улиц… Вместо всего — камни и камни…

Ночью я плакала: где моя веселая мама? Почему мама всегда грустная? Почему она со мной не шутит и не играет, как до войны?..

## «Он не дает улететь…»

***Вася Саульченко — 8 лет.***

***Сейчас — социолог.***

***Живет в Минске.***

…После войны меня долго мучил один и тот же сон. Сон о первом убитом немце… Которого я сам убил, а не увидел убитого… То я лечу, а он меня не пускает. Вот поднимаешься… Летишь… Летишь… Он догоняет, и падаешь вместе с ним… Проваливаешься в какую-то яму. То я хочу подняться, встать… А он не дает… Он не дает улететь…

Один и тот же сон… Он преследовал меня десятки лет… И только недавно исчез…

Когда я убил этого немца, я уже видел. как застрелили моего деда у порога, а бабушку у печки… Видел, как маму били прикладом по голове… Как она умирала и волосы у нее были красные, а не черные… Но когда я стрелял в этого немца… Он был раненый… Я хотел забрать у него автомат, мне сказали забрать у него автомат… Подбегаю к нему и вижу, как у меня перед глазами пляшет пистолет, он в него вцепился двумя руками и водит перед моим лицом… Он не успевает первым выстрелить, успеваю я… видимо, попал, потому что пистолет у него упал.

Тогда я не успел испугаться, что убил… Человека убил… И в войну его не вспоминал. Слишком много было убитых вокруг. Они уже не пугали. Один только раз мне стало страшно… Мы зашли в деревню, ее недавно сожгли… Часа четыре-пять прошло… Я увидел обгоревшую женщину… Она лежала вся черная, а руки белые, живые женские руки… И вот тогда мне впервые стало страшно…

Нет, ребенком я не был. Не помню себя ребенком. Хотя… Были какие-то странности… Убитых не боялся, а идти ночью или вечером через кладбище боялся… Мертвые, которые на земле, не пугали, а те, которые в земле, пугали. Из детства этот страх… Так и остался…

У меня сын, уже взрослый мужчина. Когда он был маленьким, меня пугала сама мысль — рассказать ему о войне. Он расспрашивал, а я уходил от разговора. Я любил читать ему сказки. Он вырос, а мне все равно не хочется говорить с ним о войне. Может быть, когда-нибудь я расскажу ему о своем сне…

## «Доченька, запомни это на всю жизнь…»

***Аня Корзун — 2 года.***

***Сейчас — зоотехник.***

***Живет в Витебске.***

…Мне запомнилось девятое мая сорок пятого года. В детский сад прибежали женщины:

— Дети, победа!

Стали нас всех целовать, включили репродуктор. Все слушали. А мы, маленькие, слов не понимали, мы понимали, что радость идет оттуда, сверху, из черной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руках взрослые… Кто сам лез… Залазили друг на дружку, только третий или четвертый доставал до черной тарелочки и целовал ее. Потом менялись… Всем хотелось поцеловать слово «победа»…

Вечером над городом поднялся салют. Мама открыла окно и заплакала:

— Доченька, запомни это на всю жизнь…

А я боялась.

Когда вернулся с фронта отец, я его боялась. Он даст мне конфету и просит:

— Скажи: папа…

Возьму конфету, спрячусь с ней под стол:

— Дядя…

У меня всю войну папы не было.

## «Это война болит?..»

***Николай Березка — 1945 года рождения.***

***Сейчас — таксист.***

***Живет в Гродно.***

Родился я в сорок пятом году, но я помню войну. Вы удивлены? Да, я знаю войну, видел.

Мать закрывала меня в другой комнате. Но я все равно слышал, как кричал отец. Он кричал долго. Я прилипал к щелке между створками дверей: отец держал двумя руками больную ногу, качал ее. Он катался по полу и стучал кулаками: «Война! Проклятая война…»

Когда боль проходила, отец брал меня на руки, я трогал его ногу:

— Это война болит?..

Два маленьких мальчика, таких, как я, подорвались за деревней на спрятанной в земле мине. А это был уже, наверно, сорок девятый год. В школу я пошел в рубашке из отцовской гимнастерки…

## «Украсила я ее гвоздиками…»

***Мариам Юзефовская — 1941 года рождения.***

***Сейчас — инженер.***

***Живет в Минске.***

Что только со мной мама не делала: стригла наголо, натирала керосином, прикладывала мазь. А я ненавидела себя отчаянно. Стеснялась. Даже во двор не выходила. Но вши и чирьи в первый послевоенный год… От них мне не было спасения.

А тут вдруг телеграмма: отец демобилизуется. Пришли встречать на вокзал. Мама меня принарядила. На самую макушку бант красный привязала. На чем только держался — непонятно. И все дергает меня: «Не чешись. Не чешись». Зуд же нестерпимый. Проклятый бант, вот-вот отвалится. А в голове вертится: «А вдруг я отцу не понравлюсь? Он ведь меня еще ни разу не видел».

Но то, что произошло, оказалось хуже худшего. Отец увидел меня и кинулся ко мне первый. Но тут же брезгливо поморщился… На миг, на какой-то миг. Но я это почувствовала сразу. Кожей. Всем тельцем. И так обидно стало. Так невыносимо горько. Что когда он взял меня на руки, я изо всех сил толкнула его в грудь. В нос мне вдруг шибанул запах керосина. А ведь сопровождал он меня всюду и везде уже год, я уже перестала его слышать. Уже привыкла. А тут услышала. Может, потому, что от отца так прекрасно и незнакомо пахло. Он был такой красивый по сравнению со мной и измученной мамой. И это ужалило меня в самую душу. Я сорвала бант. Бросила на землю. И наступила на него ногой.

— Что ты делаешь? — удивился отец.

— Твой характер, — смеялась мама, которая все понимала.

Она держалась за отца двумя руками, они и домой так шли.

Ночью я звала маму, просила, чтобы она взяла меня к себе в кровать. Уже засыпая, твердо решила, что убегу в детдом.

Утром отец подарил мне две куклы. А у меня до пяти лет не было настоящих кукол. Одни самоделки тряпичные. Бабушкины. У кукол, которые привез отец, глаза закрывались и открывались, двигались руки и ноги, одна пищала что-то вроде слова «мама». Мне это казалось волшебством. Очень дорожила ими, боялась даже на улицу выносить. Но в окошко показывала. Мы жили на первом этаже, посмотреть на мои куклы собирались дети со всего двора.

Была я слабая, болезненная. Вечно мне не везло. То лоб расшибу, то на гвоздь напорюсь. А то вообще в обморок шлепнусь. И дети мня в свои игры не очень-то брали. Я втиралась к ним в доверие как мгла. И даже дошла до того, что начала подлизываться к Дусе дворничихиной. Дуся была крепкая, играть с ней любили все.

Она попросила меня вынести куклу, я не удержалась. Правда, не сразу. Еще какое-то время сопротивлялась.

— Не буду с тобой играть, — пригрозила Дуся.

Это на меня подействовало сразу.

Я вынесла ту куклу, которая «говорила». Но поиграли мы с ней недолго. Из-за чего-то поссорились, дело перешло в петушиный бой. Дуся взяла мою куклу за ноги и ударила о стенку. Отвалилась куклина голова, а из живота выпала кнопочка.

— Ты, Дуся, сумасшедшая, — стали плакать все дети.

— А чего она командует, — размазывала по щекам слезы Дуся.. — Как у нее есть папка, так ей все можно. И куклы, и папка — все только ей.

У Дуси не было ни отца, ни кукол…

Первую елку мы устроили под столом. Жили тогда у дедушки. Жили тесно. Причем так тесно, что пустое место оставалось только под столом. Туда и поставили маленькую елку. Украсила я ее гвоздиками, кусочками дратвы — всем тем, что у дедушки шло в отход от его сапожного дела. Хорошо помню, как свежо и чисто пахла елка. Этот запах ничто не могло перебить. Ни мамалыга, которую варила бабушка. Ни дедушкин сапожный вар.

Была у меня стеклянная бусинка. Мое сокровище. Никак не могла найти ей место на елке. Хотелось устроить так, чтобы с какой стороны ни поглядеть она видна. Приладила на верхушку. Ложилась спать, снимала ее и прятала. Боялась — исчезнет…

Спала я в корыте. Корыто было цинковое, отливало синевой с морозными прожилками. Как бы корыто ни мыли после стирки, привкус золы, в которой стирали белье, оставался. Я любила его. Любила прижиматься лбом к холодным краям корыта, особенно когда болела. Очень любила раскачать его, как люльку. Тогда оно начинало предательски грохотать, и меня сразу наказывали. Корытом очень дорожили. Это была у нас единственная вещь, оставшаяся из довоенной жизни.

И вдруг мы покупаем кровать… Блестящие шарики на спинке… Все это привело меня в неописуемый восторг! Я залезла на нее и тут же скатилась. Я не верила, что на ней можно спать…

## «Я долго ждал папку…»

***Арсений Гутин — 1941 года рождения.***

***Сейчас — электрик.***

***Живет в Гродно.***

Мне было пять лет… Председатель позвал женщин: «Победа!» Я радовался в детьми, за деревней колеса резиновые от немецких машин подожгли. Ребята постарше, конечно. А мы кричали: «Ура! Ур-ра! Победа!» Те, что поменьше.

Прибежал в землянку, жили мы в землянке: мама плачет. Я не понимал, почему она плачет, а не радуется в такой день.

Шел дождь, я искал прутик и мерил лужи возле нашей землянки.

— Что ты делаешь? — спрашивали меня дети.

— Меряю — глубокая ли ямка? А то папка будет идти у нам и утопится.

Женщины плачут, и мама плачет. Я долго ждал папку…

## «И мы — последние свидетели…»

***Валя Бринская — 12 лет.***

***Сейчас — инженер.***

***Живет в Горьком.***

Пока папа был жив, пока мама была жива, у нас о войне не расспрашивали, мы о войне не рассказывали. Теперь, когда их нет, я часто думаю, как хорошо, когда живут старики. Когда они живы — мы еще дети…

Папа наш был военный. Жили мы под Белостоком. Война началась для нас с первого часа, с первых минут. Сквозь сон слышу какой-то гул, словно раскаты грома, но какого-то непривычного, непрерывного. Просыпаюсь и бегу к окну над казармами в местечке Граево, куда мы с сестрой ходили в школу, горит небо.

— Папа, это гроза?

Папа сказал:

— Отойди от окна, это — война.

Мама собирает ему походный чемодан. По тревоге отца поднимали часто. Мне снова хотелось спать. Легли с сестрой поздно — ходили в кино. В ту довоенную пору «ходить в кино» было совсем не то, что сейчас. Фильмы привозили только перед выходным днем, и их было немного: «Мы из Кронштадта», «Чапаев», «Если завтра война», «Веселые ребята». Просмотр организовывали в красноармейской столовой. Мы, ребятня, не пропускали ни одного показа и знали фильмы наизусть. Даже подсказывали артистам на экране ли забегали вперед, перебивая их. Электричества ни в селе, ни в части не было, кино «крутили» с помощью движка. Затрещит движок — бросаем все и бежим занимать места у экрана, а другой раз и табуретки с собой тащим.

Шли фильмы долго: закончится часть, все терпеливо ждут, когда киномеханик перемотает очередную бобину. Хорошо, когда лента новая, а если старая, то она постоянно рвется, — пока ее заклеют, пока подсохнет. А то и загорится лента — еще хуже. Совсем гиблое дело, когда движок заглохнет. Часто бывало, что и фильм не успевали до конца досмотреть. Раздавалась команда:

— Первая рота — на выход. Вторая рота — на построение.

Мы знали — все. А если поднимали по тревоге, то и киномеханик убегал. Когда перерывы между частями слишком затягивались, терпение лопалось и начиналось волнение, свист, крики, сестра залезала на стол и объявляла: «Открываем концерт». Сама она страшно любила, как тогда говорили, декламировать. Текст не всегда знала твердо, но на стол залезала без страха.

Это у нее осталось с детсадовских времен, когда мы жили в Дещинцах под Гомелем. После стихов пели, на «бис» нас вызывали с песней «Броня крепка и танки наши быстры». Стекла в столовой дрожали, когда бойцы подхватывали припев:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,

Пойдут машины в яростный поход…

Так вот, двадцать первого июня сорок первого года мы, наверное, в десятый раз смотрели фильм «Если завтра война». После кино долго не расходились, и загнал нас домой отец: «Спать вы сегодня будете? Завтра выходной».

…Окончательно проснулась, когда раздался рядом взрыв и из окна на кухне посыпались стекла. Мама закутывала в одеяльце полусонного братика Толика. Сестра уже одета, папы дома нет. Его вызвали в крепость.

— Девочки, — торопит мама, — скорее. На границе — провокация…

Мы бежим к лесу Мама задыхается, у нее на руках братик, нам она его не отдает и все время повторяет:

— Девочки, не отставайте… Девочки, пригнитесь…

Почему-то мне запомнилось, что очень сильно было в глаза солнце. Было ясно-ясно. Пели птицы. И это пронизывающий гул самолетов…

Я дрожала, а потом стало стыдно, что я дрожу. Потому что я всегда хотела подражать героям книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». А тут вдруг дрожу. Взяла братика на руки, стала его качать и даже напевать «И девчонка молодая…» Была такая «любовная» песня в фильме «Вратарь». Ее часто пела мама, и она очень «хорошо ложилась» на мое тогдашнее настроение и состояние. Я была… влюблена! Не знаю, как там по науке и психологии подростка, но ходила я постоянно влюбленной. Было время, когда мне нравилось несколько мальчиков. Но здесь нравился один — Витя из граевского гарнизона, он учился в шестом классе. А этот шестой класс был с нашим пятым в одном комнате. Первый ряд парт — пятый класс, второй ряд — шестой класс. Не представляю, как учителя умудрялись проводить уроки. Мне было не до уроков. Как я себе шею не свернула, пяля глаза на Витю?

Мне нравилось в нем все: и то, что он маленького роста (под стать мне), и то, что у него голубые-голубые глаза (как у моего папы), и то, что он был очень начитанный (не то что Алька Поддубняк, который больно «щелбаны» давал и которому нравилась я). Особенно он любил Жюля Верна! В красноармейской библиотеке было его полное собрание, и я все прочитала еще в третьем классе…

Не помню, сколько мы просидели в лесу. Не слышно стало взрывов. Наступила тишина. Женщины облегченно вздохнули: «Отбили наши». Потом послышался гул летящих самолетов. Мы выскочили на дорогу. Самолеты летели в сторону границы: «Ур-ра!» Но что-то «не наше» было в этих самолетах: крылья не наши и гудели не по-нашему. Это были немецкие бомбардировщики. Они летели крыло в крыло, медленно и тяжело. Казалось. что от них на небе нет просвета. Мы начали считать, сбились. Уже позднее, в хронике военных лет, я видела эти самолеты, но впечатление не такое. Съемки делали на уровне самолетов. А когда на них смотришь снизу, сквозь гущу деревьев, да еще глазами подростка, — жуткое зрелище. Мне потом часто снились эти самолеты. Но сон был с «продолжением» — все это железное небо медленно падало на меня и давило, давило, давило. Просыпалась в холодном поту, и снова начинал бить озноб.

Кто-то сказал, что разбомбили мост. Мы испугались: а как же папа? Папа не переплывет, он не умеет плавать.

Сейчас не могу сказать точно, но помнится мне, что папа прибежал к нам: «Вас эвакуируют на машине». Передал маме толстый альбом с фотографиями и теплое ватное одеяло: «Укутай детей, продует». Ни документов, ни паспорта, ни копейки денег. У нас с собой была только кастрюля котлет, которую мама приготовила на выходной день, и ботиночки брата. И так мы эвакуировались.

До станции доехали быстро, а на станции сидели долго. Все дрожало и гремело. Погас свет. Стали жечь бумагу, газеты. Нашелся фонарь. От его света громадные тени сидящих людей — по стенам, потолку. И вот тут мое воображение разыгралось: немцы в крепости, наши в плену. Я решила попробовать — выдержу пытки или нет. Засунула пальцы между ящиков и придавила. Взвыла от боли. Мама испугалась:

— Что с тобой, доченька?

— Я боюсь, что не выдержку пыток на допросе.

— Что ты, дурочка, какой допрос? Наши немцев не пропустят…

Она гладила меня по голове, целовала в макушку.

Эшелон шел все время под бомбами. Только начинают бомбить, мама ложится на нас: «Если убьют, то вместе. Или меня одну…» Первый убитый, которого я увидела, был маленький мальчик. Он лежал и смотрел вверх, а я его будила. Я не могла понять, что он неживой. У меня был кусочек сахара, я давала ему этот кусочек сахара, я давала ему этот кусочек сахара, чтобы он только встал. А он не вставал. И мы с сестрой плакали над ним…

Бомбят, а сестра шепчет мне: «Перестанут бомбить, и я буду слушаться маму. Всегда буду ее слушаться». И действительно, после войны Тома была очень послушной. Мама нам вспоминала, что до войны звала ее сорванцом. А наш маленький Толик… Он до войны уже хорошо ходил, хорошо говорил. А тут он перестал говорить, он все время хватался за голову. Я видела, как поседела моя сестра. У нее длинные-длинные черные волосы, они стали белые. За несколько дней… За одну ночь…

Состав тронулся. А где Тамара? В вагоне ее нет. Смотрим, а Тамара бежит за вагоном с букетом васильков. Там было большое поле, пшеница выше нашего роста, а в ней васильки. До сих пор она у меня перед глазами. Черные глазенки раскрыты широко, бежит и молчит. Даже «мама» не кричит. Бежит и молчит.

Мама обезумела. Она рвется выскочить на ходу. Я держу Толика, и обе кричим. И здесь появился солдат. Он оттолкнул маму от двери, выпрыгнул, догнал Томку и с размаху швырнул ее в вагон. Утром мы увидели, что она белая. Несколько дней ей ничего не говорили, прятали наше зеркало, пока она случайно не заглянула в чужое и заплакала:

— Мама, я уже бабушка?

Мама ее успокаивала:

— Обстрижем, снова вырастут черные.

После этого случая мама сказала:

— Все. Никуда из вагона. Убьют так убьют. Останемся живы, значит, судьба!

Когда кричали: «Самолеты! Всем выходить из вагонов!» — она запихивала нас под матрацы, а тем, кто выгонял ее из вагона, говорила:

— Дети убежали, а я идти не могу.

Надо сказать, что мама часто употребляла загадочное слово «судьба». Я все допытывалась у нее:

— Что такое судьба? Это — бог?

— Нет, не бог. В бога я не верю. Судьба — это линия жизни, — отвечала мама. — Я всегда, дети, верила в вашу судьбу…

Под бомбежкой мне было страшно. Потом уже, в Сибири, я себя ненавидела за трусость. Случайно, краешком глаза прочитала мамино письмо папе. Мы тоже сочиняли первые в своей жизни письма, и я решила подсмотреть, что пишет мама. А мама как раз писала, что Тамара молчит, когда бомбят, а Валя плачет и боится. И для меня этого было достаточно. Когда весной сорок четвертого к нам приехал папа, я не могла на него глаз поднять — мне было стыдно. Но о встрече с папой потом. До нее еще далеко. Очень долго это была только наша мечта.

Вспоминаю ночной налет. Обычно ночью налетов не было и поезд шел быстро. А здесь налет. Пули барабанят по крыше вагона. Рев самолетов. Светящиеся полосы летящих пуль. Красиво, как фейерверк. Рядом со мной убивает женщину. Она не падает. Упасть некуда. Вагон набит людьми. Женщина хрипит, ее кровь заливает мне лицо, теплая, липкая. И вот уже моя майка и трусики мокрые от крови. Когда мама закричала, дотронувшись до меня рукой:

— Валя, тебя убили? — я ничего не могла сказать.

После этого у меня наступил какой-то перелом. Перестала дрожать. Мне было все равно — ни страшно, ни больно, ни жалко. Было какое-то отупение, безразличие. Выпало из памяти дальше, как я боялась.

Помню, что до Урала мы сразу не доехали. На какое-то время остановились в селе Баланда Саратовской области. Привезли нас туда вечером, мы уснули. Утром, в шесть утра, пастух щелкнул кнутом. и все женщины вскочили, схватили своих детей и с воплем выбежали на улицу: «Бомбежка…» Кричали, пока не пришел председатель не сказал, что это пастух гнал коров. И тогда все опомнились.

Тишина стояла, а мы все время боялись. Начинал гудеть элеватор, начинал дрожать наш Толик. Он ни на секунду никого от себя не отпускал, только когда заснет, можно было выйти без него на улицу. Мама пошла с нами в военкомат, чтобы узнать об отце, чтобы нам дали какие-нибудь деньги. Военком у нее спрашивает:

— Покажите мне документы, что ваш муж командир Красной Армии.

Документов у нас не было, была только папина фотокарточка, папа на ней в военной форме. Он взял ее и сомневается:

— А может, это не ваш муж. Как вы докажете?

Толик увидел, что он держит карточку, не отдает:

— Отдай папу…

Военком рассмеялся:

— ну, этому документу я не могу не верить.

Тамара ходила пегая, мама остригла ей волосы. Каждое утро все проверяла: какие будут новые: черные или седые? Брат успокаивал: «Не пачь, Тома… Не пачь, Тома…» Волосы все равно выросли белые. Мальчишки ее дразнили, она никогда не снимала платка, даже на уроках.

Пришли из школы. Дома нет Толика.

— Где Толик? — побежали на работу к маме.

— Толик в больнице.

…Несем с сестрой по улице голубой венок и матросский костюм брата. С нами идет мама, она сказала, что Толик умер. Возле морга мама стала и зайти туда не может. Я зашла одна и сразу узнала Толика — он лежал голенький. У меня ни одной слезинки, я стояла деревянная.

Папино письмо догнало нас в Сибири. Мама всю ночь плакала, как написать папе, что единственный сын умер. Утром мы все втроем отнесли на почту телеграмму: «Девочки живы. Тома поседела». И папа догадался, что Толика нет. Стали писать папе письма. У меня была подруга, отец ее погиб, и я всегда в конце приписывала, она просила: «Папа, привет тебе от меня и от подруги Леры». Всем хотелось иметь папу.

Вскоре от папы пришло письмо. Он писал. что долго был с особым заданием в тылу и заболел. В госпитале ему сказали. что вылечить его может только семья: он увидит родных и ему станет легче.

Папу ждали несколько недель. Мама достала из чемодана крепдешиновое платье и туфли. У нас был уговор — не продавать это платье и туфли, как бы ни было трудно. Если мы их продадим, то папы не будет, папа не вернется.

Слышу на дворе папин голос и ничего не могу понять: неужели этот папа? Не верилось, что я могу увидеть папу, мы отвыкли его видеть, мы привыкли его ждать. Для нас давно папа был то. что надо ждать и только ждать. В школе в тот день сорвались занятия — все пришли посмотреть на нашего папу. Это был первый папа, который приехал с войны. Еще два дня мы с сестрой не занимались, к нам без конца подходили, расспрашивали, писали записочки: «Какой папа?..» А папа у нас особенный — кавалер ордена Ленина, Герой Советского Союза — Антон Петрович Бринский.

Папа, как когда-то наш Толик, не хотел быть один, он всюду водил меня с собой. Однажды я услышала… Он рассказывал кому-то, как партизаны подошли к деревне… Стоят и смотрят, что под ногами у них свежая земля… Вдруг видят: эта земля шевелится… Бежит из деревни мальчик и кричит, что тут расстреляли всех и закопали.

Папа оглянулся, видит — я падаю. Больше он никогда при нас о войн не рассказывал.

Мы говорили о войне мало. Единственное, что у нас с сестрой долго оставалось от папы, — мы покупали куклы. В войну у нас не было укол, мы росли без кукол. Училась я в институте, сестра знала, лучший подарок для меня — кукла. У сестры родилась дочь, я приехала к ним:

— Что тебе подарить?

— Куклу…

— Я спрашиваю, что тебе подарить, а не твоей девочке.

— Я отвечаю — подари мне куклу…

Росли наши дети — мы дарили им куклы. Мы всем дарили куклы, всем нашим знакомым.

Первой не стало нашей изумительной мамы, потом не стало нашего папы, и мы ощутили, сразу почувствовали, осознали. что мы последние у той черты… У того края… Сегодня мы должны говорить… Последние свидетели…

*1985 г.*

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](http://royallib.ru/comment/aleksievich_svetlana/poslednie_svideteli_sto_nedetskih_rasskazov.html)

[Все книги автора](http://royallib.ru/author/aleksievich_svetlana.html)

1. «Дружба народов» № 5, 1985, с. 239. [↑](#footnote-ref-1)